

ТАТЬЯНА

Устинова

— первая среди лучших —



Шекспир мне друг,
но истина дороже

Annotation

В командировке в Нижний Новгород режиссеру Максиму Озерову и его напарнику Феде Величковскому предстоит записать спектакль для радио! Старинный драматический театр встречает москвичей загадками и тайнами! А прямо во время спектакля происходит убийство!.. Странной смертью умирает главный режиссер Верховенцев, и на ведущую актрису тоже покушались!..

Максим Озеров начинает собственное расследование, в котором ему активно помогает молодой напарник Федя. Порой им кажется: они не столько записывают спектакль, сколько сами участвуют в невероятном, фантазмагорическом спектакле, где всё по правилам — есть неувимый, как тень, злодей, есть красавицы, есть чудовища, есть даже самый настоящий призрак!..

Самое удивительное, что Федя Величковский встречает там свою любовь — вовсе не театральную, не придуманную драматургом, а самую настоящую!.. И время от времени и Максиму Озерову, и Феде чудится, будто вся эта поездка была придумана не ими, а кем-то неизвестным и всесильным, кто просто захотел поговорить с ними о любви!..

Татьяна Устинова

Шекспир мне друг, но истина дороже

© Устинова Т., 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2015

* * *

Всю ночь ревел и грохотал запутавшийся в кровле ветер, и ветка старой липы стучалась в окно, мешая спать. А с утра пошел снег. Максим долго и бессмысленно смотрел в окно — просто чтобы оттянуть момент, когда все же придется собираться. Крупные хлопья кружились в ноябрьской предрассветной метели, медленно падали на мокрый почерневший асфальт, фонари мерцали в лужах уродливыми бледно-желтыми пятнами. Москва из последних сил ждала настоящей зимы — чтобы, как только она придет, начать ждать весну. Максим больше всего на свете любил весну — зеленую, жаркую, полуденную, осоловелую, с квасом из бочки и прогулками в Нескучном саду — но до нее еще жить и жить, и как-то не верится, что доживешь.

Свет бил по глазам, в голове гудело, будто в трансформаторной будке. Ведущий новостного канала — возмутительно бодрый для половины шестого утра — рассказывал, что «предсказанное потепление на европейской территории немного задерживается и ожидается снегопад». «Иди к черту!» — посоветовал ведущему Максим Озеров и выключил телевизор.

Сашка уже убежала на дежурство. В ее умении просыпаться в неизменно хорошем расположении духа заключалось необъяснимое для Озерова шаманство: Сашка была весела, легка, всегда с удовольствием завтракала и всем своим видом напоминала Максиму породистую деловитую таксу, собравшуюся с хозяином на лису. Сам он так не умел: чтобы встать, ему приходилось заводить по десять будильников, по утрам кровоточили неизвестно откуда взявшиеся за ночь заусенцы. Озеров замерзал, шаркал ногами, сшибал углы и мучился от осознания собственного несовершенства и душевной лени. Сашка его жалела и — если ему случалось уходить раньше — готовила завтрак. Он всегда отказывался, а она его заставляла есть.

На столе стояла чуть теплая турка с остатками кофе и громадная старинная корзина с крышкой, ремнями и потемневшим латунным замочком. Корзина была покрыта махровым кухонным полотенцем. Из-под полотенца торчал полированный термос и оптимистический край краковской колбасы. К корзине был пришит листочек с подписью: «С собой».

Значит, снег?.. Максим Озеров с вызовом вытащил из шкафа и оглядел свой красный походный, с подранным рукавом пуховик. Ну пуховик, а что такое?.. Если снег валит, впереди четыреста верст с гаком, значит, пуховик, а вовсе не щегольское пальтецо, на которое он рассчитывал! Предсказанное потепление задерживается, ясно сказано. То есть, видимо, его следует ждать к весне.

— Весна! — продекламировал Максим в тишине квартиры. — Выставляется первая рама! И в комнату шум ворвался! И благовест ближнего храма! И говор народа! И стук колеса!

Хорошо хоть вчера на сервисе проверили колеса — все четыре, — и ни одно не стучит. Он влез в пуховик, закинул рюкзак на плечо, схватил Сашкину корзину — та приветственно хрустнула — и вышел вон.

Озеров гнал свой внедорожник из Москвы, натужно скрипели дворники, широкие шины с гулом давили мутную воду в раскатанной колее федеральной трассы «Волга», фары резали серую пелену снега и мороси. Вчера он договорился заехать на дачу за Федей — Кратово было по пути, но сейчас Максим надеялся, что Величковский проспит, и тогда он на нем отыграется. Поблуждав немного по старому и очень сонному поселку, Озеров наконец вывернул на нужную улицу.

У ворот одного из домов маячила сутулая фигура, облаченная в ядовито-зеленый балахон, чудовищных размеров брезентовые штаны и оранжевые меховые мокасины. Образ завершала надвинутая на глаза банная войлочная шапка с надписью крупной вязью «Пар всему голова». В одной руке фигура держала рюкзак размером с небольшой дом, в другой — Озеров почти не поверил глазам! — бутылку шампанского; по балахону, оказавшемуся сноубордической курткой с львиной мордой на спине, струился черный провод наушников.

Федя Величковский не проспал.

— Господин режиссер! Что же вы мне не сигнализировали? Мы же уговорились, что вы будете звонить! А вы? Надули мальчонку? — Федя, кое-как упихав в багажник свой невероятный рюкзак, бесцеременно залез в корзину с Сашиними припасами, оценивающе обнюхал колбасу и с энтузиазмом и даже с некоторым вожделием спросил: — А яйца вкрутую и свежие огурцы есть?..

— Товарищ сценарист! — Озеров зевнул, не разжимая челюстей. — Сарынь на кичку! Садись давай!

— И вам доброго утра!

Хлопнули двери, довольно рыкнул бензиновый «вэ-восемь», и «лифтованный» темно-зеленый с ярко-оранжевым шноркелем джип весело покатыл по размытой поселковой дороге.

Величковский сбросил меховые мокасины и, подобрав под себя ноги, как йог, устроился в широченном кожаном кресле.

— Завтракать будем во Владимире на заправке, — распорядился он. — Я все продумал.

Под глупой войлочной шапкой нестерпимо чесалась голова, но Федя твердо решил, что шапку ни за что не снимет. Во всяком случае, пока начальник не обратит на нее должного внимания.

— Угу, — без всякого энтузиазма отозвался Озеров.

Нет уж, одним «угу» дело не обойдется! Величковский почесался и продолжил проникновенно:

— Вы, господин режиссер, заправите свой экипаж, а я — Чайльд Гарольд — буду заедать скверно сваренный кофе сосиской в тесте. Устроившись за столиком у окна, буду смотреть на стремительные авто, пролетающие сквозь туман из черно-серебристой взвеси снега и дождя в... эээ... — Федя на секунду запнулся, подбирая наиболее пошлый эпитет, — в едва вылупившееся, неприветливое хмурое утро.

— Низкопробно! — вынес вердикт Озеров.

Для Величковского это была вторая поездка, он пребывал в прекрасном настроении, любил весь мир и особенно себя в нем. Приглашение в экспедицию было равносильно вовлечению в круг посвященных, особым знаком, который означал «ты свой среди своих».

Что-то вроде высшей правительственной награды и очень закрытого клуба, куда принимали только самых верных, близких и перспективных. «Близким и перспективным» Федя был всего полгода. И никто — даже Озеров — не догадывался, как ему это нравилось!

Командировки придумал Владлен Арленович Гродзовский — генеральный директор «Радио России», акула, столп и Мефистофель радиийного мира. Несколько раз в году Гродзовский именным указом отправлял Озерова — своего главного режиссера, подельника и десницу — в какой-нибудь провинциальный город с театром, где Максим виртуозно и очень быстро записывал спектакли по русской и иностранной классике для Госрадиофонда. Постановки получали европейские премии, уездные театры — славу и небольшой приработок, а сотрудники радио — ощущение причастности и отдыха без отрыва от родного производства. Работа в таких поездках всегда была... чуточку понарошку.

Вот и теперь главный режиссер, лауреат всего и абсолютный профессионал Озеров был уверен, что с чеховской «Дуэлью» в нижегородском Государственном театре драмы управится дня за два. В худшем случае — за два с половиной. А дальше — неделя официальной командировки, когда можно болтаться по городу, бродить по музеям, сходить на комедию в театре, где уже все свои, пить пиво и есть раков в ресторанах на набережных. Именно так сейчас представлялись Озерову «несколько дней из жизни московского режиссера в Нижнем Новгороде».

Работы для Величковского не было никакой — его везли исключительно в награду за труды. Скорее даже авансом. Он был неплохим автором, и Озеров безошибочным чутьем определил, что со временем станет очень даже неплохим!.. Федя талантливо и совершенно бесстыдно писал любую, даже самую лютую конъюнктуру, соблюдал такт, умел задавать вопросы, производить нужное впечатление, знал, когда можно спорить и когда надо согласиться, и не прощал себе халтуры.

Он был ленив, непунктуален, прикидывался фрондером и циником.

Озеров подобрал Федю на утреннем спортивном канале, где тот работал корреспондентом и прославился минутным сюжетом про веломарафон, сумев на спор восемнадцать раз употребить слово «когеренция», да так ловко, что материал вышел в эфир.

Вести машину было тяжело. Снегопад только усиливался, и трассу ощутимо припорошило. Здоровенный внедорожник скользил и плавал в колее, Максиму постоянно приходилось «ловить» рулем его рысканья, а в метели все сливалось: и редкие воскресные машины, аккуратные, настороженные в тумане, и сереющий язык шоссе со смазанной разметкой, и разбитая грязная обочина...

— Ну и погодка! — изрек Федя. Он достал из кармана своих невообразимых штанов электронную сигарету, откинулся на спинку кресла и попытался затянуться — не получилось. — Как это работает?

— Заболел? — Озеров, скосив один глаз на Федю, выхватил у него изо рта сигарету и бросил ее в подстаканник между сиденьями. — В моей машине не курят!

— Они экологичные, — возразил Федя.

— Зафрахтуй во Владимире автобус и кури себе, — пригрозил Озеров, — и сними эту войлочную кепку!

— Ну наконец-то, Максим Викторович! — Федя бросил шапку на заднее сиденье и принялся с упоением, как обезьяна, чесаться. — Я в ней два часа сижу, как дурак, а вы только заметили! Где ваша режиссерская наблюдательность?

— Я машину веду. Наблюдаю за дорогой.

— Все равно, — продолжал Федя с энтузиазмом. — Для нас, работников искусства, самое главное — наблюдать за жизнью и делать выводы. Вот вы делаете выводы из жизни, Максим Викторович? Наблюдаете ли вы за ней?

— Сейчас нет.

— А я наблюдаю всегда! И категорически утверждаю, что любое событие можно восстановить по его финалу! Если вы знаете, чем именно оно закончилось, как наблюдательный человек, вы всегда сможете сказать, что именно послужило толчком! Так сказать, понять, что было вначале — слово или не только слово, а еще кое-что!

— М-м-м, — протянул Озеров, — чего ты начитался-то? Американских психологов? Или на тебя так старик Конан Дойл подействовал?

Перед самой командировкой Федя закончил сценарий по рассказам о Шерлоке Холмсе. Он долго возился, примеривался и в конце концов раскопал какой-то дореволюционный перевод, вот сценарий и получился занятный и совершенно не узнаваемый, как будто Конан Дойл вдруг взял и написал совершенно новую историю.

Максиму так понравился этот сценарий, что он даже начальству его показал. Начальство подумало и распорядилось взять перспективного Федю в Нижний. Мальчик должен отдохнуть, развеяться и почувствовать себя «частью целого».

— И этой фигней обзавелся! — Максим кивнул на подстаканник, в котором болталась электронная сигарета. — Трубку бы лучше купил.

— Я не курю, вы же знаете! Мамаша против, да и вообще Минздрав предупреждает! Но как писателю без цыбареты? Посмотрите вокруг — все вьюжит, все серо, все темно. Пустота и мрачность! В душе хаос и страсть к разрушению!

— Это у тебя в душе хаос и страсть?

— А что? — заинтересовался Федя. — Не заметно?

В Петушках метель пошла на убыль, а во Владимире и вовсе улеглась. Они перелезли через какую-то невидимую стену, за которой вдруг не осталось вьюги и предстоящей зимы. Небо стало подниматься, черный, сырой от снежной взвеси асфальт высох, стал тут же пыльным, дворники впустую скрипели по лобовому стеклу. Какое-то время их джип мчался будто бы по границе между временами года, а потом вдруг где-то наверху ослепительно ярко сверкнуло солнце. Оно брызнуло сквозь дыру в небесах, прорвав облака, залило дорогу, поля, черневший в отдалении лес, искрой блеснуло в зеркале заднего вида бегущей впереди легковушки, отвесно упало на пыльное торпедо джипа. Бесконечную слепую серость сменила контрастная зелено-сизая дымка, пронизанная теплым солнечным светом, последним в этом году.

Они нацепили темные очки — движение получилось синхронным и «крутым», как в фильме про спецagentов и инопланетян. Озерова это развеселило.

Вечно забитая фурами владимирская окружная оказалась абсолютно свободной. Федя, провозгласивший себя штурманом и уткнувшийся в «девайс», отбросил его за ненадобностью. Интернет едва шевелился, пробки не загружались, а Озеров знай себе давил на газ — технологии в очередной раз были посрамлены.

— А вы, господин режиссер, знаете, куда править? — спросил Федя. Он выудил из бардачка помятый зеленый атлас и принялся скрупулезно его изучать. — Мы в квадрате Е-14, правильно? Или... или С-18?

И стал совать атлас под нос Озерову. Максим атлас оттолкнул.

— Тут по прямой, Федь. По прямой аж до самого Нижнего. Авось не промахнемся.

Они ехали деревнями. Почему федеральная трасса проложена через деревни? Неудобно это, медленно, небезопасно, да и вообще!.. Федя всегда стеснялся, но ему страшно нравилось это азиатское варварство. Была в нем какая-то правильность — без деревень и дорога не дорога!.. Он любил читать странные названия, угадывать ударения — чем дальше от Москвы, тем проще ошибиться: Ибреть, Липяной Дюк, Ямбирно, Ахлебинино... Феде было жаль покосившихся, почерневших ветхих деревенских домов, разрушенных то ли вибрациями от многотонных грузовиков, круглыми сутками шедших по прорубленной прямо посреди поселка трассе, то ли злодейским попустительством хозяев, то ли просто каким несчастьем. Поэтому он всегда в каждой деревушке по пути выискивал какой-нибудь крепкий, справный, надстроенный, блестящий свежей, не облупившейся краской дом — просто чтобы радоваться ему и думать: «Вот какая красота!»

Он никогда и никому в этом не признался бы — все же он фрондер и циник, знающий, что жизнь мрачна и несправедлива. Да и лет ему немало, двадцать четыре весной стукнуло. И за плечами у него всего полно — ссора с отцом из-за выбора профессии, университет, гордый отказ от аспирантуры, неудачный роман, неудачный первый сценарий, неудачный первый репортаж!.. В общем, Федя был закаленным бойцом, но до слез жалел бездомных собак и от души радовался справным домикам.

Сразу после Владимира он начал ныть и скулить, что хочет есть и «размяться». Озеров какое-то время отвечал, что он должен быть мужественным и терпеть лишения — это была игра, она веселила обоих, — а потом Максим зарулил на заправку.

Федя затолкал ноги в мокасины, замяв задники, и вывалился наружу.

— Холод собачий! — провозгласил он с восторгом. — Подайте мне шапочку, Максим Викторович, в уши надует!

Озеров кинул ему шапку «Пар всему голова», которую Федя немедленно напялил.

— Вы пока заправляйтесь, а я в очередь! Вам эспрессо или капучино?

— В какую еще очередь? — под нос себе пробормотал Озеров, выбираясь из машины. — Откуда здесь очередь?

Небеса сияли, и было так холодно, что дыхание застывало и, кажется, шуршало около губ. Максим застегнул под подбородком воротник пуховика. После долгого сидения в машине его пробирала дрожь. А Сашка думала, что у него будет «пикник на обочине», корзину собрала!..

— Максим Викторович! — закричала высунувшаяся из стеклянных дверей голова Величковского. — Вы припасы-то захватите!

— Балда, — под нос себе сказал Озеров и прокричал в ответ: — Не захвачу! Сам съем!

В помещении заправки было чисто, светло и вкусно пахло — кофе и сдобой. К прилавку с булками стояла очередь, столики в кафе все были заняты. Федя сидел за стойкой у окна на высоком никелированном стуле, второй предусмотрительно придерживал рукой и неистово замахал Максиму, как сигнальщик на борту корабля.

— Что ты машешь?

— Да тут видите какой ажиотаж наблюдается! Теперь вы держите стул, а я пойду в очередь. Вам капучино или эспрессо? Хотите, я принесу из багажника шампанское, вы напьетесь, а дальше я поведу?

— Федь, дуй в очередь. Мне чай. Черный.

— С молоком? — уточнил Федя. — Как кухне Бетси?

Они прихлебывали из больших стеклянных кружек, Федя откусывал попеременно то

сосиску, то «улитку сладкую с ванильным кремом». Еще одна сосиска — запасная, — дождалась на пластиковой тарелке, и Феде весело было думать, что все еще впереди.

— Так что — детали! — провозгласил он с набитым ртом. — Самое главное детали, Максим Викторович. Оскар Уайльд сказал, что только очень поверхностные люди не судят по внешности! Вот к примеру! О чем вам говорит моя внешность?..

Озеров засмеялся и оглядел Федю с головы до ног — тот немедленно напялил шапку «Пар всему голова».

— Твоя внешность говорит мне о том, что ты лентяй, разгильдяй и самоуверенный тип. — Федя с удовольствием кивал. — Какой у тебя рост? Метр девяносто?

— Три, — подсказал Федя. — Метр девяносто три.

— Всякая форма тебе противна.

— Из чего вы делаете такой вывод, Максим Викторович?

— Вместо того чтобы принять сколько-нибудь приличный вид — все-таки едешь в командировку, да еще с начальством, да еще в незнакомое место! — ты напяливаешь на все свои сто девяносто три сантиметра безразмерные брезентовые штаны и куртку, подозрительную во всех отношениях. Человека в таких штанах и куртке уж точно нельзя принимать всерьез, но ты об этом даже не думаешь.

— Не думаю, — подтвердил Федя, тараща шоколадные глаза. — Я знаю, что вы ко мне относитесь всерьез, а на остальных мне наплевать. Заседания, свидания и любовные куры в ближайшую неделю не планируются. Так что ваш вывод неверен. Неверен, коллега!..

«Коллегами» всех называл отец-основатель и «организатор наших побед» Гродзовский, и Феде страшно нравилось такое обращение.

— Но эксперимент должен быть чистым! Меня вы хорошо знаете и, следовательно, пристрастны. Но вот — остальные люди! Что вы скажете о них?

— Федь, доедай и поедем.

— Подождите, Максим Викторович! Что вы, право? Воскресенье в полном нашем распоряжении, а мы уже проделали путь, сравнимый...

— Сегодня вечером спектакль. Я хочу посмотреть.

Федя нетерпеливо махнул рукой с зажатой в ней сосиской.

— Мы успеем, и вы об этом прекрасно знаете!.. — Он перешел на шепот: — Вон сидит парочка. Ну, вон, вон, за тем столиком! Что вы о них скажете?

Озеров непроизвольно оглянулся. Мужчина и женщина, довольно молодые, жевали бутерброды, каждый глядя в свой телефон.

— Они поссорились, — сообщил Федя в ухо Максиму. — Поездка не задалась! Вы обратили внимание, как они расплачивались за еду? Они стояли в очереди вместе, а заказывали отдельно, и каждый заплатил из своего кошелька. Сели тоже вместе! То есть они пара, но поругались в пути. Должно быть, она настояла на воскресной поездке к мамаше, а он собирался с друзьями в баню.

— Федь, иди сам в баню!..

— А вон та блондиночка на «Форде» клеит бобра из «БМВ», — Федя показал за стекло. Озеров, против воли заинтересовавшийся, посмотрел на улицу. — Она очень долго танцевала возле своей машины, будто не знала, как вставить пистолет в бак. Но он все не обращал внимания. А теперь она просит его залить ей омыватель, видите?

На стоянке действительно стоял старенький «Форд», а возле него топтались юное платиноволосое создание в крохотной белой шубке и дюжий мужик в кожаной куртке, не

сходившейся на животе, на самом деле похожий на бобра. В руках юное создание держало канистру, а мужик шарил под капотом старичка «Форда», стараясь поднять крышку.

— На самом деле она все сама умеет, — продолжал Федя Величковский. — Когда бобер был на подходе, с поворотником на шоссе стоял, она крышку уже открывала. И сразу захлопнула, как только он повернул!

Максим посмотрел на своего сценариста, как будто впервые увидел.

— Слушай, а ты, оказывается, фантазер! Может, из тебя правда писатель выйдет. Главное, врешь от души. И никак тебя не проверишь.

— Почему не проверишь? Можно подойти и спросить! Хотите, я спрошу! Легко! Между прочим, Булгаков...

— Может, поехали, а? — почти жалобно попросил Озеров.

— Вы идите, а я сейчас, только еще одну сосисочку возьму. Вам взять?

— Лопнешь.

Солнце светило вовсю, дорога лежала впереди просторная и широкая, упиралась в сияющий холодный горизонт, до Нижнего Новгорода оставалось еще двести километров с гаком.

Как хорошо, думал Федя Величковский, что еще далеко. Он с детства любил ездить «далеко».

— Это наше последнее свидание. Я ухожу.

Ляля, грохотавшая кастрюлями на полке, замерла и аккуратно пристроила большую крышку от сковородки на маленький ковшик. Крышка не удержалась и поехала.

— Ромка, что ты... сказал?

— Ляль, ты все понимаешь. И давай без истерик, ладно? У меня вечером спектакль. После спектакля я поеду к себе.

— Куда к себе? Подожди, — сказала Ляля, нашарила табуретку, села, тут же вскочила и опять плюхнулась, как будто ее не держали ноги. — Спектакль да, я знаю, но... Нет, подожди, так же нельзя...

Она собиралась варить кашу — Роман перед спектаклем ел исключительно кашу и пил черный кофе, — и теперь сильно открытый газ полыхал и сипел, вырываясь из конфорки. Выключить его Ляля не догадывалась.

— Ну все, все, — он подошел и погладил ее по голове. — Ну, ты же умница, старуха!.. Ты ведь все понимаешь. Мы же оба знали, что рано или поздно...

— Подожди ты! — дрожащим голосом перебила его Ляля. — Что рано или поздно?! Я же тебя люблю!

— И я тебя люблю, — сказал Роман и прижал ее голову к себе. — Поэтому мы расстаемся. Так гораздо лучше, правильнее!

Несмотря на то что в первую же секунду она поняла, что все закончилось и он от нее уйдет, уйдет именно сегодня, сейчас, она вдруг поверила, что обойдется. Он ее любит. Он же сам только что сказал.

— Ромка, подожди, — попросила она. — Ты мне объясни, что случилось?.. — И зачем-то подсказала: — Ты меня разлюбил?

Он вздохнул. Под ее щекой у него в животе забурчало.

— Наверное, и не любил никогда, — признался он задумчиво. — То есть я любил и сейчас люблю, но не так, как надо!..

— А как?! Как надо?

Ляля вырвалась, слезы показались у нее на глазах, и она стала быстро-быстро глотать, стараясь проглотить их все до единой.

— Лялька, не истери! — прикрикнул Роман. — Наши дороги должны разойтись. Я решил, пусть они лучше разойдутся прямо сейчас. Зачем продолжать, когда понятно, что продолжения не будет?

— Но почему, почему не будет?!

Морщась, он отошел и встал, привалившись плечом к дверному косяку. Очень высокий, очень красивый и озабоченный «сценой расставания».

— Ну... по всему, Лялька. Я, наверное, в Москву уеду. Эта столичная знаменитость спектакль у нас запишет, и я уеду. Я больше не могу... тут. — Подбородком, заросшим корсарской щетиной, он показал куда-то в сторону ходиков, которые мирно тикали на стене.

Ходики тикали, не обращая внимания на катастрофу, только что разметавшую Лялину жизнь в щепки. Им было все равно.

— Ты не думай, что я пошляк! Но мне правда здесь тесно. Ну что меня ждет? Тригорина я сыграл, Глумова тоже. Мистера Симпла сыграл. Ну, кого мне еще дадут? Я же старею, Ляля.

— Тебе всего тридцать два, — произнесла она, чтобы что-нибудь сказать.

Синее газовое пламя, разрывая конфорку, сипело и плясало у нее перед глазами.

— Уже тридцать два! Уже, а не всего!.. Каждый день по телевизору показывают мальчиков и девочек, которым по двадцать пять, а они звезды! Их знает вся страна, хотя они бесталанные, как... как бараны, я же вижу! Мне давно надо было уехать, десять лет назад, но я все тянул. А теперь вот... решился.

— Ромка, ты не уйдешь от меня.

— Если бы ты меня любила, — сказал он с досадой, — ты бы сама меня выпроводила давно. Мне нужно развиваться, или я погибну. А ты такая же эгоистка, как все.

Тут его вдруг осенило, на что нужно напирать в «сцене расставания» — именно на эгоизм и настоящую любовь. Он воодушевился.

— Ты же знаешь, с кем имеешь дело! Я артист, а не плотник вроде твоего тупорылого соседа!.. Я должен расти над собой, иначе зачем? Зачем я родился? Зачем вынес все муки?

— Какие муки? — сама у себя тихонько спросила Ляля. Она тоже поняла, что он «ухватил суть мизансцены», сейчас доиграет и уйдет. И она останется одна.

Ходики продолжали тикать, а газ — сипеть.

Вся Лялина жизнь на глазах обращалась в прах, а Ляля сидела и смотрела, как она обращается.

— Если бы ты меня любила, ты помогала бы мне по-настоящему! Ты бы не давала мне ни минуты покоя! Заставляла добиваться большего. Бороться и побеждать!

— Ромка, ты всегда говорил, что дома тебе нужен как раз покой и больше ничего. Что ты все отдаешь зрителю. И я тебе помогала! Правда, я старалась. Я всегда подбираю репертуар, чтобы тебе было что играть! Мы даже с Лукой из-за этого то и дело ссоримся!

Лукой за глаза иногда называли директора драматического театра, где Ляля работала заведующей литературной частью, а Роман не работал, а «служил». Он знал, что большие артисты всегда «служат в театре».

— Ты умная взрослая тетка, — сказал Роман устало. — Ты же не могла всерьез предполагать, что я на тебе женюсь!

— Я... предполагала, — созналась Ляля.

Он махнул рукой.

— Ну, что ты от меня хочешь?.. Я не останусь. Я должен вырваться.

Она кивнула.

Он еще постоял в проеме, глядя на нее. Доигрывать мизансцену ему не хотелось. Как-то совестно стало, что ли. Странное чувство.

— Ну, я в театр, — сказал он наконец. — Вечером меня не жди. Ты все понимаешь, моя хорошая!..

«Хорошая» все понимала.

Все же она была на самом деле «умной теткой» и прочитала за свою жизнь горы разной литературы. Из этой литературы она знала, что так бывает, и даже довольно часто. Даже почти всегда. Любовь заканчивается крахом, надежды гибнут, мечты оказываются растоптанными.

...Ты больше не нужна. Ты делала для меня все, что могла, — подбирала мне спектакли, выискивала роли, уговаривала строптивых режиссеров. Теперь я «встал на крыло», и твоя опека мне мешает. Я уеду — в Москву, в Нью-Йорк, на Северный полюс, — и там у меня начнется новая жизнь. Тащить за собой старую не имеет смысла, да и скучно. И вот еще, самое главное, — я тебя разлюбил.

А теперь мне пора. Ты все понимаешь, моя хорошая. Как я тебе благодарен.

— Я тебе очень благодарен, — пробормотал Роман не слишком уверенно. — Вещи... я потом, ладно?

— Ладно.

На крыльце что-то загрохотало, старый дом вздрогнул, как будто все еще был цел, как будто только что не обратился в прах.

— Хозяйка! — закричали откуда-то. — Ты дома?

Роман, который хотел еще что-то сказать, махнул рукой. Ляля сидела и смотрела, как он торопливо сдергивает с крючка куртку и натягивает ее, с ходу не попадая в рукава. Входная дверь, обитая для тепла черным дерматином, распахнулась, и, нагибая голову, в дом вошел сосед Атаманов.

— Здорово, — сказал сосед. — Ляль, я карнизы сделал. Заносить?

— Пока, — одними губами молвил Роман из-за его плеча. — Я тебя люблю.

Хлопнула дверь. По крыльцу прозвучали легкие, освобожденные шаги.

— Ты чего такая? — спросил Атаманов. — Газ у тебя шпарит! Белье, что ль, кипятить собралась?

Ляля сидела на табуретке и рассматривала свои руки. Лак на ногтях совсем облупился. Завтра она собиралась на маникюр. Сегодня никакого маникюра быть не может, сегодня у Романа спектакль. Он играет главную роль. Она должна присутствовать. Он всегда говорит, что ее присутствие поддерживает его. А завтра в самый раз. После спектакля Ромка будет спать до полудня, и она успеет сбежать в салон.

— Карнизы, говорю, сделал. Прибивать сейчас будем?

Сосед один о другой стянул ботинки — Роман всегда говорил, что разуваться у порога плебейская привычка, — прошел на кухню и завернул газ. Сразу стало тихо, как в склепе.

Ляля посмотрела по сторонам, ожидая увидеть склеп, но увидела собственную кухню и соседа Атаманова.

— Что тебе нужно?

— Ляль, ты чего?

— Уходи отсюда, — выговорила она. — Уходи сейчас же!

— А карнизы?

Оттолкнув его с дороги, Ляля кинулась в комнату, обежала ее по кругу, свалила стул, распахнула дверь в спальню, где царил разгром — Роман всегда оставлял за собой разгром. Ляля затрясла головой, завывала, саданула дверью, выскочила на улицу и побежала.

У калитки остановилась и побежала обратно. Добежав до крыльца, на которое выбрался донельзя изумленный сосед Атаманов, она ринулась к калитке.

— Стой! Стой, кому говорю!..

Сосед перехватил ее, когда она уже дергала щеколду.

— Ты чего? Что это такое?

— Пусти меня!..

Но Атаманов был здоровенный крепкий мужик. Он обхватил Лялю и понес. Она вырывалась, лупила его и кричала. Он затащил ее в дом, захлопнул обе двери и сказал сердито:

— Чего ты голосишь? Соседи кругом!

Ляля ушла в комнату, села на диван и уткнулась лицом в колени, как будто у нее заболел живот.

— Бросил? — спросил из коридора сосед.

Ляля покивала в колени.

— Терпи, — сказал Атаманов.

— Я не могу, — призналась Ляля.

— Да чего там...

— Я не могу, — повторила она глухо.

Сосед топтался и вздыхал. Ляля качалась взад-вперед.

— Не пара он тебе, — сказал сосед наконец.

Ляля опять покивала. Лицо у нее горело.

— Ты женщина... — он поискал слово, — порядочная. А это обмылок какой-то!

— Я тебя прошу, Георгий Алексеевич, уйди ты от меня.

— Как же я уйду, — удивился сосед Атаманов, — когда ты не в себе?

Он еще потоптался и вышел, хлопнула дверь.

Ляля стала тихонько подвывать, и ей сделалось так жалко себя, никому не нужную, старую, толстую, растрепанную женщину, которую только что бросил единственный в мире мужчина, что слезы полились обильно разом и затопили ладони, в которые она уткнулась. Ляля схватила вышитую жесткую подушку и стала вытирать их ею, а они все лились и лились, стекали по вышивке.

Все это больше никому не нужно — ни вышивки, ни подушки, ни молочная каша, которую она наострилась варить. И дом никому не нужен, и сад. Ее жизнь больше никому не нужна. Ромка сказал, что он не просто разлюбил. Он никогда не любил ее так, «как надо». Что с ней не так? Почему ее нельзя любить, как надо?

Ляля и не заметила, как в комнате опять появился сосед Атаманов. Она ничего не видела и не слышала и почувствовала только, как он толкнул ее в бок.

— Поднимайся, помогать будешь.

Ляля боком легла на диван, прижав к лицу подушку.

— Давай, давай, чего там!..

Он приволок из кухни табуретки, утвердил их возле окна и снова стал толкать Лялю.

— Я не могу, — выговорила она.

— А в другой раз я тоже не смогу, — грубо отозвался Атаманов. — У меня дел полно! Вон морозы пришли, а у меня розы по сию пору не накрытые, погибнут все. Вставай!..

У нее ни на что не осталось ни сил, ни воли. Залитая слезами, она неуверенно поднялась, как будто тело не слушалось ее, и встала посреди комнаты, свесив руки.

— Держи.

Сосед сунул ей тяжеленную холодную дрель, за которой волочился черный шнур, и Ляля покорно ее приняла, а он взгромоздился на табурет и сказал сверху негромко:

— Газетку принеси, поддержишь, чтоб пыль не летела, а дрель мне подай.

Ляля отдала ему дрель, разыскала на вешалке под пальто и куртками старую газету и влезла на табуретку. Все это она проделывала, как будто наблюдая за собой со стороны — вот косматая, залитая слезами, страшная женщина, шаркая тапками, идет в коридорчик, нагибается, шарит, потом, сторбившись, несет газету, словно в руке у нее тяжеленный груз.

— Ровно держи, не трясси руками.

Дрель завизжала, стена завибрировала, на газету посыпались мелкие желтые опилки. Визжала она довольно долго.

— Не нужно, — сказала Ляля, и сама себя не услышала из-за визга, — это все больше никому не нужно.

Но сосед Атаманов каким-то образом все расслышал и остановил дрель.

— Не нужно! — Он покрутил головой. — Как же не нужно? Так и будешь без штор всю зиму сидеть, проходим глаза мозолить?

— Да какая теперь разница.

— Ты, Ольга, молодая еще, и потому я строго тебя судить не могу. Охота переживать, ты и попереживай, поплачь, но в голове держи: ушел, и слава богу!..

— Почему? — спросила у него Ляля. — Почему он ушел? Что я сделала не так? Я же старалась! Я все для него!.. Я каждый день...

— Да при чем тут ты-то? — и Атаманов опять наострился дрелью в стену. — До чего вы все, бабы, чувствительные, где не надо! Не от тебя он ушел, он вообще ушел! Он и от следующей уйдет, и от той, которая через одну будет, тоже уйдет!

Ляля зарыдала, труха с газеты посыпалась на пол.

— Да не трясись ты! — прикрикнул сосед. — Полы кто будет мыть? Сама же и будешь!

Ляля покорно перестала рыдать и только всхлипывала судорожно.

Сосед еще посверлил немного и опять остановил дрель.

— Очень вы на красоту падкие, — продолжал он с досадой. — Вам чем мужичонка краше, тем лучше, выходит. А дальше фасада-то вы не видите ничего, как куры заполошные. Артист твой ведь никто, ничто!. Ни по хозяйству, ни по дому. Где это видано — при нормальном мужике с ногами-руками ты по соседям ходишь, то крыльцо починить, то рамы вывалились, то лестница скосбочилась!..

Ляля вдруг оскорбилась:

— Не стану я тебя больше ни о чем просить.

— Да ты хоть проси, хоть не проси, у меня глаза-то есть!.. Какой от него прок, от артиста?! Вот ты мне скажи! Нет, ты скажи! Представление он дает — это я согласен, в театр ходил, видел. А в жизни на что он сгодится? Ты и по хозяйству, и в огороде, хотя сама женщина культурная, образованная. А он чего? Как ни зайдешь, на диване лежит, да еще в халате каком-то, как турок! Или телевизор смотрит. Чего он там не видел, в телевизоре?!

— Егор, ты ничего не понимаешь.

— Это ты ничего не понимаешь! Тебе красоту подавай! Кудри у него, стать, голос, как у Шаляпина! Он на сцене шепчет, а в заднем ряду слышно. Я в театре был, слышал! Ну вот, ты вышла, вышла из театра-то, а дальше что? Ухаживай за ним, корми его, пои, ублажай. Год ты его ублажала, другой пошел. Сколько можно?! Держи ровнее газету-то, все просыпала!

И дрель опять завизжала.

— Он творческий человек, — горячо заговорила Ляля, как только визг умолк, — очень талантливый! Его нельзя приспособить к хозяйству, ну и что?! Зато с ним так интересно! У него на все есть свое мнение, он...

— У меня тоже на все свое мнение, — перебил сосед. — А творческих сейчас развелось, как псов шелудивых! Куда ни глянь, кругом творчество! В караоке поет — творческий, значит, гопака пляшет, тоже творческий, из бумаги фигуры складывает или из ниток вяжет, туда же, творческий! Бабка моя покойная Акулина и все до единой соседки ее нынешним творческим сто очков вперед дали бы — они и пели, и плясали, и вязали, и кружева плели!.. И с детьми управлялись, и по хозяйству бились, и мужиков с войны дожидались, и пахали, и сеяли, и скотину держали! Другое дело — на сцене не представляли!

Он еще повизжал немного дрелью и продолжил:

— Это я к тому говорю, что дрянь человек и есть дрянь, а уж творческий он или не творческий — дело десятое!

Ляля, которой никогда не приходило в голову, что ее Роман «дрянь человек», стала кричать, что Атаманов ничего не понимает в жизни, что его мерки давно устарели, что теперь ее жизнь кончилась, а новой никакой не будет, она так любила, а он, оказывается, вовсе не любил!..

Сосед слушал, продолжая работать. Несколько раз она слезала с табуретки и уносила газету с холмиком желтой трухи, аккуратно ссыпала ее в ведро. На газету капали ее слезы, крупные и горячие. Она возвращалась, опять влезала, и все повторялось.

Часа за полтора они повесили карнизы, Ляля не замолкала ни на секунду, все говорила.

Затем сосед смотал резиновый шнур и велел ей идти за ним — он будет укрывать розы, там надо сетку держать. Ляля напялила куртку и сапоги и потащилась на улицу. Было холодно и смеркалось уже вовсю, на краю неба дрожали ледяные зеленые звезды. У Ляли очень мерзли руки, особенно от металлической сетки, которую она держала, перчатки она не догадывалась надеть.

Говорила Ляля, не останавливаясь, и спохватилась, только когда Атаманов, приладив последний ящик, стал подбирать с земли инструменты.

— Господи, сколько времени?! Спектакль! Я же опоздала! Все из-за тебя, Егор!..

Он задрал на запястье рукав и посмотрел, поднеся часы почти к носу.

— Ничего, не опоздала! Седьмой час.

— Как?! Мне же еще собираться! Да что ж такое-то!..

И она ринулась по дорожке.

— Стой, стой! — закричал вслед Атаманов. — Не суетись, я тебя на машине подвезу! Тут ехать пять минут! Ну, семь!

Ляля махнула на него рукой.

Ни разу она не опаздывала на спектакль, в котором играл Роман, а теперь вот опоздает, и это будет означать, что все кончилось. На самом деле и навсегда. И ни поправить, ни изменить, ни вернуть назад.

Будь он проклят, этот сосед! Будь он проклят с его доморощенной философией и розами!

Ну кто, кто на ночь глядя укрывает розы?!

Собираться в театр, прихорашиваться, оценивающе смотреть на себя в зеркало, притоптывать ногой — каждый раз как предчувствие Нового года. Когда Василиса была маленькой, она очень боялась, что случится что-нибудь такое, из-за чего Новый год придется... отменить. Какое-нибудь несчастье: метеорит упадет или цунами налетит. Ее совершенно не волновали последствия несчастья, гибель цивилизации там или раскол планеты, а волновало, что Новый год отменится. Тот факт, что на Волге не бывает цунами и землетрясений, тоже не слишком ее интересовал. Она просто очень боялась, что праздник, такой вожделенный, такой близкий, самый лучший, так и не настанет.

Теперь она с тем же восторженным страхом ждала каждого похода в театр. Она боялась, что он не случится, и знала, что все будет хорошо, и надеялась, и мечтала.

— Какая почитательница театра, — фыркала бабушка, — посмотрите на нее! Прямо Татьяна Доронина!

Василиса горячо объясняла бабушке, что выше театрального искусства нет ничего на свете — только там живые люди каждый раз по-новому проживают трагедии и драмы, а иногда даже и комедии. Только на сцене эмоции и страсти сконцентрированы до такой степени, что иной раз в зрительном зале прямо-таки молнии сверкают!.. И она, Василиса, просто чувствует токи, или потоки, или даже вихри.

Бабушка слушала, сделав ироничное лицо.

— Ты всегда чувствуешь вихри или только когда на сцене *он*? — неизменно осведомлялась она в финале внучкиного монолога. «Он» выговаривалось непременно с придыханием и восторгом.

— Бабушка-а-а! — кричала, становясь пунцовой, Василиса. — Ну, как ты можешь?

Бабушка всегда сдавалась и признавала за *ним* если не гениальность, то уж точно талант, талантище, можно сказать. Пару раз Василиса, выпросив у администратора Эдуарда Сергеевича контрамарки, приводила бабушку на спектакли, где *он* блистал в главной роли. Бабушка на сцену смотрела внимательно, не отрывая глаз, а Василиса исподтишка кидала на нее молниеносные взгляды, все боялась заметить на ее лице иронию. Но бабушка была очень серьезна. Правда, после спектакля *его* игру она никак не оценивала, говорила только, что спектакль хороший, и артисты, и режиссер, видимо, постарались. Василиса приставала, выпрашивала похвалу более... существенную, яркую, особенно для *него*, но выпросить не удавалось.

— Дождемся пенсии, — говорила бабушка, стоя в очереди в гардероб, — и еще разок сходим! Очень я в молодости любила театральные буфеты, так любила!.. Там всегда особенный шоколад, уж не знаю, в чем дело. И бутерброды непременно с белой рыбой. И газировка!

Василиса изнывала — бутерброды и газировка ее не интересовали, ей хотелось говорить только о *нем*, и *его* игре, о *его* находках.

Бабушка сдавалась, и всю дорогу до дома они говорили об игре и находках. Шли они, как правило, пешком, нужно было забраться в горку к кремлю. На середине пути бабушка начинала задыхаться — у нее давно и безнадежно болело сердце. Василиса знала, что еще немного, еще чуть-чуть, до той лавочки, и придется усаживать бабушку, выхватывать из ридикюля нитроглицерин, вытряхивать на ладонь крохотную таблеточку и ждать, изо всех сил надеясь, что «отпустит». Отпускало каждый раз по-разному, иногда сразу, а иногда на

лавочке они сидели подолгу, и бабушка все повторяла ей успокаивающе:

— Ничего, ничего, обойдется.

Они с Василисой ждали какую-то «квоту» на операцию. Без «квоты» операция стоила немислимых денег, а их не было никаких, даже мыслимых.

Василиса училась на филфаке — в основном урывками, кое-как. Не столько училась, сколько искала, где и чем можно заработать. Она сотрудничала в газете «Волжанин», писала заметки в разделы «Культурная жизнь» и «Досуг». Платили за них удручающе мало, зато у нее была возможность бесплатно ходить на спектакли, на выставки и на премьеры в кино. Она пробовала работать официанткой — там было гораздо более сытно, но после смены она уставала так, что не могла уснуть, ноги и руки гудели, пристроиться было невозможно. Кроме того, однажды в ресторане подрались пьяные братки — со стрельбой и поножовщиной, — сюжет показали в криминальной хронике, бабушка увидела и перепугалась так, что на две недели угодила в кардиологическое отделение. Пришлось Василисе из ресторана уйти. И тут она обрела театр и *его*!

Его она увидела в роли Алексея Турбина, и все пропало. Как будто у нее вдруг открылись глаза. Она стала бегать на каждый спектакль, а потом и на репетиции, ее пускали по редакционному удостоверению газеты «Волжанин». Прижав кулачок к губам, она смотрела на сцену, и глаза у нее горели. Только в театре ничто не имело значения: ни бабушкина болезнь, ни ожидание «квоты», ни безденежье, ни будущее, которого они обе боялись. Только там была жизнь — прекрасная именно потому, что придуманная, ненастоящая, а раз ненастоящая, значит, и не такая пугающая.

И *он*!.. *Он* был лучше всех.

Когда *он* говорил, задыхаясь, на сцене: «Вы не откажитесь принять это... Мне хочется, чтобы спасшая мне жизнь хоть что-нибудь на память обо мне... это браслет моей покойной матери...», Василиса тоже начинала задыхаться, слезы сами собой лились из глаз, и она не просто чувствовала, она и была той женщиной, которой Алексей Турбин принес браслет покойной матери, она пропадала в осажденном городе, каждую минуту боялась петлюровцев и немцев, она неистово жалела Турбина и все-таки врала ему!..

Василиса устроилась в театр помощником костюмера. Платили ей еще меньше, чем в «Волжанине», но зато она получила возможность гладить *его* костюмы. От них всегда особенно пахло, горько и нежно, и Василиса, зарыв нос в мундир или бархатный камзол, все воображала, воображала...

В театре о *нем* ходили грязные слухи — спит с заведующей литературной частью Вершининой, странной дамой средних лет, носившей шали и длинные неопрятные юбки; ухаживает за дочкой директора, начинающей актрисой, хорошенькой донельзя; попивает, не платит долгов... Василиса ничего не слушала и ничему не верила. Конечно, когда такой титан живет среди пигмеев — что остается пигмеям?! Только распускать слухи!

Она написала о *нем* несколько заметок, все «прошли», их опубликовали, и *он* сказал ей как-то в коридоре: «Спасибо, милая девочка». Василиса потом несколько дней не могла есть и спать, каждую минуту мчалась в кремлевский парк и там гуляла одна под липами, переживала «милую девочку».

Ей пришлось устроиться еще на одну работу, которую она тщательно скрывала в театре, — мыла полы в фитнес-клубе «Само совершенство». Однажды — Василиса только переделалась в зеленый комбинезон и вытащила из подсобки свои швабры и щетки, — в клуб пожаловала сама Валерия Дорожкина, прима и звезда драматического театра. Василиса

заметалась было, стараясь не попасться ей на глаза, а потом поняла: Валерия, как и все остальные клиентки, не то что не обращает внимания на уборщицу, не то что ее не замечает, а как будто вообще не подозревает о ее существовании. И — обошлось! В театре никто не узнал.

Эту Дорожкуину Василиса терпеть не могла. Во-первых, Валерия придумала обращаться к *нему* Рамзес — Роман Земсков, — и все подхватили. Ничего особенного, но было в этом оперном прозвище нечто для *него* оскорбительное, унижающее. Во-вторых, Дорожкина всегда разговаривала с *ним* насмешливо, называла «милым мальчиком» и «провинциальным сердцеедом». В-третьих, презирала всех, включая директора театра Лукина, — за глаза его называли Лукой, впрочем, чаще Юриванычем, как бы по имени-отчеству, — никогда ни с кем не здоровалась и не прощалась, проходила мимо, глядя поверх голов, и снисходительна была только к режиссеру Верховенцеву, гению и знаменитости, с которым открыто жила при наличии мужа. Молодые артистки боялись Дорожкину как огня, а молодые артисты заискивали и добивались ее внимания — в общем, смотреть на все это было противно.

Сегодняшний спектакль особенный — на него должен пожаловать столичный режиссер со свитой. Часть свиты уже прибыла — молодой бородатый мужчина с пластмассовым кофром, в котором лежали какие-то технические принадлежности — микрофоны, компьютер, небольшой звуковой пульт. Бородач в сопровождении Луки и Верховенцева обошел всю сцену и зрительный зал, постоял там и сям, потом сообщил, что микрофоны поставит здесь и здесь, после чего сразу ушел, выпить в директорском кабинете отказался наотрез — сразу видно, специалист из Москвы!..

Когда стало известно о радиоспектакле, среди артистов произошли некоторые конфликты, стычки и интриги. Всем хотелось играть для федеральной радиостанции, хотя затею заранее презирали — кому в наше время нужны спектакли на радио: ни денег, ни славы! Тем не менее надежды на некоторую славу были, и они сделали свое дело. Недели две театр бурлил, слухи полнили его, скапливались, как пар, вырывались наружу. Василиса за ужином рассказывала бабушке, кто кого и как назвал. Потом на доске приказов появилось объявление о том, кто играет, и страсти немного схлынули.

Василисе очень хотелось посмотреть на режиссера, который приехал к ним в театр аж из Москвы, а еще она очень болела за Романа Земскова, назначенного на главную роль. Она была уверена — москвич оценит и прочувствует его талант, и заранее боялась, что тот заберет Романа с собой, увезет в «большой мир» — навсегда.

Сегодня была не ее смена, ничего гладить не нужно, и она собиралась в театр как зритель — с взволнованным предчувствием.

— Ты уж, пожалуйста, — сказала бабушка, когда Василиса совсем собралась уходить, — ты уж, пожалуйста, очень-то не задерживайся. Хорошо, Васенька?

Бабушка чувствовала себя неважно, но бодрилась, чтобы не отравить внучке вечер.

Василиса поцеловала ее, пообещала, что вечером все-все расскажет, и выбежала на улицу.

В темном небе горели зеленые звезды, со стороны Волги несло холодным ветром, и Василиса, ежась в худосочной курточке, побежала по брусчатке вверх к кремлю.

Она всегда поддевала под курточку теплую кофту, а сегодня не стала — чтобы быть очень красивой. Теплая кофта испортила бы весь вид.

Перед первым звонком разыгрался скандал.

Такое иногда случалось перед важными спектаклями-премьерами или когда играть предстояло для «особых гостей». Считалось, что это необходимо «для нерва», во взвинченном состоянии артисты играли особенно убедительно и с полной отдачей.

Скандал затеяла Дорожкина, которой показалось, что ее платье надевал «посторонний человек».

— Кому ты давала мои вещи? — визжала она и швыряла в костюмершу Софочку корсетами, лифчиками и поясами с подвязками. Рыдающая Софочка на лету хватала вещи, складывала их на гладильную доску. — Кому давала, говори! Ну что ты реवेशь, корова?!

Шестидесятилетняя тучная и одышливая Софочка, обожавшая театр и всех актрис до одной, на свои деньги покупавшая особенный крахмал и какую-то специальную воду «с отдушкой», чтобы заливать в утюг, штопавшая «на дому» эти самые чулки и корсеты, да так искусно, что дырку потом не мог обнаружить самый опытный глаз, вся сотрясалась от рыданий и закрывалась рукой. На шум сбежались из соседних гримерок артисты, столпились у дверей рабочие сцены, задействованные в сегодняшнем спектакле. Бородатый и статный Валерий Клюкин, муж Валерии Дорожкиной, тоже пришел и наблюдал издали с недоброй улыбкой. По слухам, они с Дорожкиной были «на грани развода», и как будто во всем виновата Валерия с ее буйным темпераментом. Супруг и тезка в театре числился декоратором, и это казалось всем странным — звезда и декоратор! Впрочем, статью и корсарской щетиной Клюкин больше напоминал модного продюсера, но все равно мезальянс налицо. Теперь Клюкин смотрел на буянившую супругу с интересом и недоверием.

В конце концов явился сам Верховенцев.

Звезда продолжала бушевать.

— Оно воняет! — И снова совала платье Софочке под нос. — Ты что, не чувствуешь ничего?! Работать надоело?! Так я тебе живо пенсию выпишу! Пошла вон отсюда!

— Что вы так, Валерия Павловна, — решился кто-то из артистов. — Софочка никому не могла дать ваше платье!

— Да?! А почему оно воняет щами?! Только Никифорова щи из банки трескает! Говори, Никифоровой давала? Или эта тварь зеленая, помощница твоя, давала?

— Ни... никому... — проикала Софочка. — Нико... никогда...

Роман Земсков, привалившись к дверному косяку, наблюдал молча. Поймав взгляд Клюкина, он поморщился и встал так, чтобы спины закрыли его от мужа Валерии.

— Что ты смотришь? — закричала прима, заметив Романа. — Что ты тут стоишь? Пошел вон, бездарь, провинциал! Все о карьере в кино мечтаешь?! Вот тебе, а не карьера! — И она показала ему изящную фигу, всю состоявшую из тонких косточек. — Ты ни на что не годен, только трахать полоумных старух вроде нашей завлитши!

— Замолчи, — прошипел Роман, и щеки у него медленно покраснели. — Прекрати сейчас же. Кто-нибудь, дайте воды, у нее истерика!

— Ах, истерика! — Дорожкина плюнула в Романа, подбоченилась и пошла на Софочку. — Где вторая? Которая у тебя на побегушках?

Клюкин вдруг засмеялся громко, от души.

— Лерочка, ты переигрываешь, — заметил режиссер Верховенцев. Он казался абсолютно спокойным, даже равнодушным, тем не менее достал из нагрудного кармана трубку и начал ее раскуривать. Курить в коридорах категорически запрещалось.

— Я?! Это вы все недоигрываете, потому что не способны. Им-по-тен-ты! И ты импотент! Все твои заслуги далеко в прошлом! На что ты годен, старый пень?! Только

подъедать за великими — они едят, а ты у них по крошке собираешь! У тебя же нет ничего своего, ты все воруеть, прешь! Где вторая?! — опять налетела она на Софочку. — Говори, где?!

— Я здесь, — пискнула из задних рядов Василиса, принаряженная по случаю «особого» спектакля в синее шелковое платье. Глаза у нее были перепуганные.

Клюкин шевельнулся, как будто хотел взять ее за руку.

— Ты давала мое платье Никифоровой? Ну, говори! Подмывалка, уборщица! Вали в спортклуб сортиры мыть и ведра выносить, нечего тебе в театре делать! Она туалеты моет, об этом кто-нибудь знает?! Из руководства?! Может, она мои платья по туалетам таскает?!

Василиса сделала шаг назад и покачнулась, как будто Дорожкина ее ударила. От ужаса и стыда у нее тоненько зазвенело в ушах. Хуже всего, что про мытье туалетов услышал Роман! Он услышал, но, кажется, не обратил никакого внимания. Он тяжело дышал у стены, смотрел на приму исподлобья.

— Никто из вас ни на что не способен! — продолжала бушевать звезда. — Потому что вы ничтожества! И ты тоже ничтожество! — На глаза ей попалась хорошенькая Алина Лукина, дочка директора театра. — Думаешь, папаша тебя протолкнет в искусство? Твой папаша грязный развратник, поняла?! Господи, сколько раз он мне намекал, сколько раз! Только мне на него, — и она плюнула на пол.

— Хватит, — твердо сказал протиснувшийся к ней директор театра. — Алина, ступай в свою примерную. А вы успокойтесь, Валерия Павловна, или я вызову санитаров.

Она захохотала:

— Все вы меня боитесь, все! Потому что я одна говорю правду! А вы все, как жуки, по уши в навозе! Ну, скажи, скажи, что ты не звал меня в койку! Не было этого?

Директор сморщился, как от зубной боли, и попытался взять ее за руку:

— Не трогай меня, урод! Ты думаешь, я не знаю, что вы за моей спиной гадости мне делаете?! С этой твоей подстилкой, Лялечкой!.. Она нарочно так репертуар выбирает, чтобы мне ничего не доставалось, а все только ему, бездарности этой!

— Это неправда! — крикнула запыхавшаяся Ляля. Она только вбежала в служебные помещения и угодила прямо в эпицентр извержения. — Зачем вы так говорите?!

— Затем, что знаю! А ты зря стараешься, он все равно тебя бросит! Бро-осит! Он с директорской дочкой давно крутит! Я своими глазами видела! Ты старая, никому не нужная кляча!

Тут артисты и служащие разом задвигались и закричали со сладостным ужасом и негодованием. Директор и режиссер переглянулись. Верховенцев аккуратно спрятал в нагрудный карман так и не раскуренную трубку, и они с двух сторон взяли звезду под локотки.

— Софочка, воды со льдом из буфета, быстренько!

— Не трогайте меня, уберите лапы! — орала Валерия.

— Да она с ума сошла, господи, истеричка чертова!

— Ребята, сейчас первый звонок дадут!

— Софочка, быстренько!..

— Пощечину ей, и дело с концом!

— Как же мы играть-то будем?!

Софочка, совершенно красная, утираясь обеими руками, тяжело потрусилась по коридору — перед ней все расступались и отводили глаза — и оказалась лицом к лицу с высоким

типом, никто не видел, когда он вошел с лестницы. Тип был абсолютно незнакомый и ни к селу ни к городу в театральном коридоре — в распахнутой красной туристической куртке и тяжелых ботинках. За ним маячил еще один, тоже незнакомый.

— Здравсти, — сказал первый тип Софочке, застывшей перед ним, как схваченный внезапным морозом студень. Она растерянно моргала, не зная, с какой стороны его обойти, он занимал весь коридор.

Исподлобья он молниеносно оглядел толпу, принял какое-то решение, вынул из кармана руку и протянул Софочке:

— Озеров Максим Викторович, режиссер, — представился он. Подумал и добавил: — Из Москвы.

По толпе прошел то ли вздох, то ли стон.

— Доигралась, — сквозь зубы прошипел Верховенцев и бесцеремонно толкнул Дорожку в сторону гримерки. Она от неожиданности сделала слишком большой шаг и чуть не упала. — Господа лицедеи, все по местам, через пять минут первый звонок!

Директор театра замахал руками на манер хозяйки, загоняющей кур со двора в курятник. Артисты беспорядочно задвигались.

— Здравствуйте, здравствуйте, Максим Викторович, Лукин моя фамилия, мы с вами по телефону, если помните...

— Ты мне заплатишь за это, — громко сказал Роман Земсков звезде, вышел на площадку и бабахнул дверью. Вздогнули старые, давно не мытые люстры на потолке.

— Потом, потом разберемся, — закудахтал директор, — ребятушки, все по местам, по местам, родимые мои!

«Родимые» расходились неохотно, оглядывались и на разные голоса негодовали. Валерий Клюкин хотел было пойти за женой, но передумал и куда-то скрылся.

— Весело тут у вас, — громко сказал столичный режиссер. — Вы так перед каждым спектаклем развлекаетесь?

— Только перед некоторыми, — мстительным голосом откликнулась артистка Никифорова, оскорбленная «щами из банки», — когда важных гостей ждем!..

— Потом, все потом!.. — продолжал кудахтать Лукин.

Режиссер Верховенцев потряс Озерову руку и показал глазами на артистов, как бы призывая его в сообщники:

— Тонкие настройки, нервные натуры, вы ж понимаете.

— Я тоже натура нервная, — заявил Озеров. — Я бы хотел спектакль посмотреть и теперь нервничаю, что опоздаю. Не опоздаю?

— Как же можно опоздать, когда все... здесь! Мы для вас директорскую ложу открыли, она для самых наипочетнейших гостей. Алиночка, девочка, иди к себе, мы после все обсудим.

— Пап, ты должен ее уволить. Прямо сейчас!

— Алиночка, мы все решим. Ты, главное, не обращай внимания!

— Да, — спохватился Озеров. — Это господин по фамилии Величковский, по имени Федор, он мой... сценарист и ассистент. Федя, где ты?

Двухметровый охламон, наблюдавший за действием из-за спины Озерова, вышел вперед и болтнулся всем телом — поклонился собравшимся.

Хорошенькая до невозможности Алина Лукина молниеносно смерила ассистента глазами, артистка Никифорова оценила его коротким взглядом через плечо, даже некстати

разбушевавшаяся прима мелькнула в дверях своей гримерки — взглянула одним глазком.

— А это наша заведующая литературной частью Ольга Михайловна Вершинина.

Ляля, у которой сильно тряслись руки, только кивнула. Знакомиться с приезжими как следует у нее не было сил. Она думала о том, что Ромка переживает за своей дверью, вероятно, даже плачет — он был чувствителен, как ребенок, — а она не может зайти и утешить его.

Не имеет права.

Он ее разлюбил, а может быть, и никогда не любил.

— Лялечка, проводите гостей в ложу, а мы... скоро подойдем.

Ляля была уверена, что директор с главным режиссером сейчас голова к голове побегут в кабинет, достанут из сейфа початую бутылку армянского коньяку и с горя тяпнут по полстакана!

— Пойдемте со мной.

Она не запомнила, как их зовут, этих московских, ни одного, ни второго!..

— А мы прямо в верхней одежде пойдем? — осведомился ассистент и сценарист и стащил с плеч дикую зеленую куртку с мордой льва на спине. Должно быть, у столичных принято так одеваться в театр.

— В приемной можно одежду оставить, — неприязненно сказала Ляля, думая только о Ромке. — Я покажу.

На полутемной узкой лестнице маячил сосед Атаманов, про которого она напрочь забыла, как только услышала шум в коридоре! Она услышала шум, сдернула с головы платок и понеслась, а он остался на лестнице. Сосед привез ее к театру — и ничего, успели, к самому скандалу успели! — и не уехал, а зачем-то потащился за ней.

— Георгий Алексеевич, ты что здесь? Езжай домой, я не скоро.

— Ничего, подожду.

— Где ты подождешь-то? Не надо!

Столичный режиссер сунул соседу руку:

— Хотите с нами в ложу для особо почетных гостей?

Ляля очнулась:

— Зачем, не надо!.. Да это мой сосед просто!

— Атаманов Георгий, — представился тот. — Отчего же, можно и в ложу. В ложе я никогда не был.

— Вот и прекрасно. Товарищ не возражает.

— Егор, — грозно сказала Ляля, которой на этот вечер было вполне достаточно приключений, — езжай домой, я тебя прошу.

— Максим Викторович, давайте пуховичок, я мигом отнесу. И вы, товарищ сосед! — предложил Федя.

— Да вы же не знаете, куда! — всполошилась Ляля.

— А вон дверка, написано — приемная. Может, туда?

И Федя Величковский, взяв куртки в охапку и мило улыбаясь, бочком просеменил в «дверку».

Тоже артист, с ненавистью подумала Ляля.

— Он догонит.

Догонит так догонит! В старинном здании театра заблудиться было легче легкого, но у Ляли не осталось ни сил, ни эмоций для... политеса. И еще сосед сопит и топает за спиной.

Это он так сочувствие выражает, не хочет оставлять брошенную Лялю своей заботой, черт бы его побрал совсем!..

Федя в полутемной приемной взгромоздил куртки на вешалку — пуховик немедленно свалился, он наклонился и поднял. Из-за старинного шкафа с полотняными шторками доносились странные звуки, и он за него заглянул.

Девушка в нелепом блестящем платье горько плакала, плечи ходили ходуном, вздрагивал узел темных волос на затылке.

— Здрости, — сказал Федя Величковский. — Это вы, Кузина Бетси?

Девушка перестала рыдать, посмотрела на него и быстро утерла глаза.

— Прошу прощения, — извинился Федя галантно. Он решительно не знал, как нужно утешать плачущих за шкафом девушек. — Я помешал?

— Я... просто так, — пролепетала девушка. — Я уже ухожу.

— Не случилось ли у вас какого-нибудь несчастья?

Она посмотрела на него.

— Федор, — представился охламон. — Ужасная ошибка, ужасная!.. Был введен в заблуждение. Меня уверяли, что сегодня будут представлять комедию, а оказывается, дают драму!

Девушка моргнула. Совсем глупенькая, подумал Федор с сочувствием.

Пошарив в наколенном кармане безразмерных брезентовых штанищ, он вытащил салфетки в пакетике и протянул ей. Девушка взяла салфетку и скомкала.

— Вы драматическая артистка?

Девушка как будто испугалась.

— Нет, что вы!.. Я... помощник костюмера. Я вообще-то учусь, а здесь подрабатываю.

Сказав про костюмера, она вдруг словно заново увидела скандал, разгневанную Дорожкину и рыдающую несчастную Софочку. Надо сейчас же ее найти. Найти и утешить! Хотя как тут утетишь?.. Уже ничего, ничего не поможет!..

Салфеткой она вытерла нос, встала и одернула мятый подол. Федя посторонился.

— Вас проводить?

Тут она испугалась еще больше.

— Ой, нет, не надо!

— Как будет угодно Кузине Бетси, — следом за ней он вышел на лестницу и покрутил в разные стороны головой.

Пока что ему все очень нравилось. Даже представление в коридоре понравилось, хотя Федя был принципиальный противник всяких скандалов и истерик, особенно публичных!.. Отец всегда говорил, что нет ничего хуже женщин-истеричек и мужчин-неврастеников. Федя с ним полностью соглашался.

Но ведь тут — театр, особый мир. Максим Викторович ему про эту «особость» все уши прожужжал, когда он писал свой первый сценарий.

— Ты дай артистам поиграть-то, дай!.. Артист живет, только когда играет. Вот это что за реплика? Зачем он отвечает «да»? Что это за «да», совершенно непонятно! Это же радиоспектакль, их не видно, они должны все делать голосами, интонацией, а не лицом! Вот и напиши так, чтоб они сделали.

А в «особом мире», должно быть, положено ругаться и обзывать прилюдно, да еще перед самым спектаклем. Это может быть интересно — картина нравов.

Опять же — теория!.. Федя был любителем разного рода теорий. По его теории, следует

воссоздать исходную картину «от противного», то есть от результата, от финала к началу! Посмотрим, послушаем, понаблюдаем и точно установим, с чего все начиналось.

Очень занимательно. Хотя немного жалко несчастную «Кузину Бетси». Так он и не спросил, как ее зовут.

Федя потер руки, как будто с мороза, в коридоре оглянулся по сторонам, слегка разбежался, подпрыгнул так, чтобы достать потолок не ладонью, а локтем, чуть-чуть не достал и дальше пошел уже степенно.

Заблудился он очень быстро, зашел в тупик, вернулся, поднялся по лестнице, спустился, решил спросить дорогу, но никого не было.

Проблуждав какое-то время, он дошел до роскошной ореховой двери, слегка приоткрытой. Все остальные попадавшиеся ему двери были обшарпанны и заперты.

— Имей в виду, — громко говорили за дверью, — я этого дела так не оставлю. Все, терпение мое лопнуло! И не уговаривай меня!

Собеседник что-то отвечал, но Федя не расслышал, что именно.

— Мы областной театр, а не цирк зверей! Пусть уходит, уезжает, пусть в Волге утопится, мне все равно!

Опять негромкий голос в ответ.

Федя понимал, что подслушивает, а подслушивать нехорошо, но ничего не мог с собой поделать.

— Да плевать я хотел на все соображения! Истребить надо, каленым железом выжечь, чтоб никому неповадно было!..

После «каленого железа» Федя понял: стучать и спрашивать, как пройти в директорскую ложу, не стоит, тем более что над головой вдруг жестким алюминиевым звуком ударил звонок — раз, два, три!..

Федя ринулся в другую сторону, опять попал на лестницу, опять спустился и вывалился в ярко освещенное пустое фойе. Строгая билетерша в затянутом сером костюме посмотрела подозрительно.

Федя спросил, где директорская ложа, а билетерша спросила, где его билет, воспоследовали объяснения и препирательства, а свет меж тем медленно погас, как будто задули свечи.

В ложу он вбежал, когда на сцену уже вышли артисты. Строгая билетерша поспешала за ним, чтобы в случае недоразумения немедленно изгнать.

Озеров оглянулся и прошептал раздраженно:

— Где ты ходишь?..

— Был уличен в безбилетном проникновении, — зашептал Федя в ответ, быстро подсаживаясь, — и отконвоирован сюда.

Билетерша бесшумно скрылась, Максим Викторович махнул рукой — молчи, мол.

Федя уставился на сцену. Декорация была богатой и красивой, никаких подвешенных на колосниках стульев и колышущихся в воздухе полотнищ, символизирующих, как правило, внутренний непокой героя.

Красавец с тугими кудрями — в коридоре он говорил истеричной дамочке, что она поплатится за все, — объяснялся этой же дамочке в страстной любви. Глаза у него горели, голос дрожал, руки дрожали тоже — из директорской ложи было видно каждую подробность. Дамочка смотрела на него неотрывно, как будто все туже и туже между ними натягивалась струна.

В зале никто не смел шевельнуться.

Даже Озеров подался вперед, оперся локтями о бархатный парапет, пристроил подбородок в ладони и замер.

Федя не уловил момента, когда перестал слушать текст и смотреть на игру артистов, а начал жить с ними одну жизнь, и в какую минуту ему стало важно, чтобы она непременно осталась с ним, чтобы разрешились все противоречия, ведь совершенно ясно, что друг без друга эти двое погибнут!..

Когда вдруг вспыхнул свет и пошел занавес, он ничего не понял.

— Великая сила искусства, — сказал Озеров с удовольствием, засмеялся и потянулся. — А я тебе что говорил?! Это не просто хороший театр, это отличный театр! И труппа отличная. Мы с тобой запишем шедевр, Федя, вот увидишь! Ну? В буфет?

— А что, антракт? — глупо спросил Величковский.

— Он самый! Давайте с нами в буфет, Георгий! Мы с дороги, есть очень хочется. Только нужно быстро, а то за нами сейчас придут от директора, и не будет нам никакого буфета, а будут одни сплошные разговоры.

— Да можно и в буфет, — согласился их неожиданный сосед. — Чего ж не сходить?..

В буфете было не протолкнуться, но ловкий Озеров за руку вытащил из толпы Федю, который начал рассматривать фотографии артистов, сунул его в очередь, а сам нашел за колонной свободный столик.

— Чего брать? — спросил сосед. — Коньяку?

— Бутербродов, воды, ну, и сока какого-нибудь.

Вокруг шумела и переговаривалась нарядная, очень театральная толпа. У некоторых дам в руках были букеты. Обсуждали спектакль и хвалили артистов и постановку.

Озеров прислушивался.

Явился Федя. Непостижимым образом он принес сразу три тарелки с бутербродами и пирожными.

— Миндальное, — сообщил он. — В Большом театре самые вкусные миндальные пирожные на свете! А в Консерватории тархун. Нигде нет такого тархуна, как в Консерватории. Когда родители водили меня на симфоническую сказку «Петя и волк», я все никак не мог дождаться перерыва и выпивал сразу пять стаканов!.. Я и здесь взял, может, ничего?

И он извлек из кармана штанищ крохотную бутылочку с зеленой жидкостью. Георгий протолкался к столику за колонной. Он принес еще немного бутербродов, воду в бутылках и два бокала, от которых резко и вкусно пахло.

— Это вам, — объявил он. — По коньячку, с приездом. Сам бы выпил, да не могу, за рулем!

Они с удовольствием жевали бутерброды и разговаривали с Георгием, как со старым приятелем.

— Да какой из меня театрал, — говорил тот. — Пока жена была жива, таскала меня сюда, мне нравилось даже. У нас хороший театр, не какой-нибудь там отсталый! А потом... я уж и не ходил. Хотя Ляля, Ольга Михайловна Вершинина, соседка моя, она тут у них литературой заведует, контрамарки мне доставала. А вот режиссер... Он чего делает?

— Да, собственно, ничего не делает, — отвечал Максим. — Он сидит на стуле, мешает артистам играть и всех критикует.

— Да я серьезно спрашиваю!

— Так я серьезно и объясняю!

— Подождите, Максим Викторович, — вступил Федя, переполошившись, что Георгий все примет за чистую монету, — как ничего не делает? Режиссер весь спектакль делает! Как артисты стоят, куда идут, что говорят, это все режиссер придумывает.

— А разве в пьесе не сказано?

— Нет, автор пьесы — это совсем другое дело!.. Вот смотрите...

Они успели все съесть и выпить, а звонка все не давали. Должно быть, здесь приняты длинные антракты.

Втроем они вернулись в ложу, уселись и еще немного поговорили.

Зал постепенно заполнялся, ровный гул поднимался из партера и бельэтажа к балконам, тоже заполненным.

Звонка все не было.

Постепенно шум стих и установилась тревожная полутьшина, зрители не понимали, что происходит.

Когда шум стал подниматься снова, в прорезь занавеса вышел директор. Максим даже не сразу его узнал — в свете рампы он казался изжелта-бледным и очень маленьким.

Директор объявил изумленным зрителям, что произошло несчастье и спектакль отменяется.

Деньги за билеты будут возвращены, обращайтесь в кассу.

Озеров смотрел в окно, за которым валил снег. Метель пришла ночью, и утром оказалось, что горка, на которую выходили окна его номера, вся засыпана снегом так, что захотелось съехать с нее на заднице. Из приоткрытого окна несло морозной сыростью. Сейчас самое время отдернуть занавески, лечь на диван, накрыться пледом и смотреть, как летит снег. Смотреть долго, не отрываясь, и чувствовать, как в голове тоже начинает идти снег, и вскоре он закроет все, и хорошее, и плохое, и останется только одно — ждать весны.

Накрыться пледом и валяться до весны было никак невозможно, и Максим заставил себя одеться и спуститься на завтрак.

Завтракал он вяло и безрадостно, почти в полном одиночестве. Все командированные уже разошлись по делам, а других постояльцев в гостинице не было. Потом появился Федор Величковский.

С ним вместе явились любопытство, нетерпение и охотничий азарт.

Федя обежал буфетную стойку, сунул в тостер два куска хлеба, подумал и сунул еще два. Налил в стакан воды из графина, выпил, налил еще, подумал, забрал графин и притащил на стол.

— Чего-нибудь изволите, Максим Викторович?

— Почему ты в капюшоне?

— А! — Федя откинул с головы капюшон синей толстовки. Волосы у него торчали в разные стороны. — Так это для конспирации, шеф! Чтоб никто не догадался!

— Сыру желаю.

— Плавленого или такого?

— Обыкновенного.

На Фединой собственной тарелке болтались салатные листья, два прозрачных ломтика ветчины и гора поджаренного хлеба. Два ломтика ветчины Озерова развеселили.

Сыр он принес отдельно, и очень много — небольшой сырнй холмик.

— Хочу чаю, — заявил Федя. — Никогда по утрам не пью кофе, Максим Викторович! Только старый добрый английский чай! Девушка, девушка, можно мне чаю? Только не чашку, а чайник! И можно, чтоб не пакет, а нормальной заварки насыпать?

— Ну, ты гурман, — с улыбкой констатировал Озеров.

— Ничего не могу с собой поделат. Ни-че-го! Я старался, очень старался, но изменить себе гораздо труднее, чем кажется!

Он намазал масло на кусок поджаренного хлеба, ложкой выложил сверху клубничного джема — изрядно, — полюбовался и откусил.

— Вас не мучила бессонница, шеф? — спросил он с набитым ртом. Максим отрицательно покачал головой.

...Вот что теперь делать? Уезжать? Переносить запись? Вряд ли трупша вернется в работоспособное состояние и они смогут записать спектакль.

— Меня тоже не мучила, но хорошо бы, чтоб мучила. Тогда мы могли бы поделиться соображениями и выводами! Вы можете предположить, кто его убил?

— Федь, ты фантазируй, но в рамках действительности. С чего ты взял, что его убили? Вчера ничего было не понятно.

— Все ясно как день, — заявил Федя Величковский, вкусно жуя поджаристый хлеб. Озерову тоже сразу захотелось хлеба. — Это убийство чистой воды. Мы видели ссору. Мы слышали вопли. Мы были в эпицентре драмы. Все по моей теории — мы присутствовали при финале истории, и нам остается только восстановить события и понять, с чего все начиналось.

— Зачем нам восстанавливать события, Федя?

— Как зачем? Чтобы понять истоки! Вы же режиссер, Максим Викторович! Вы режиссер, а я сценарист! На наших глазах, ну, почти на наших разыгралась настоящая трагедия, и что, мы даже не сделаем попытки проникнуть к ее истокам?

— Да, — согласился Озеров. — Трагедия. И твоя высокопарная ирония неуместна.

— Да что вы, шеф, — помолчав, пробормотал Федя. — Это я просто так. Извините.

...В антракте артистка Валерия Дорожкина всегда остается в своей гримерке, и к ней никто не заходит. Непосредственно перед тем, как дают занавес, на столик ей ставят стакан чуть теплого сладкого чая с лимоном, чтобы она могла плотнуть «тепленького», как только начнется антракт. Вчера все было точно так же. Несчастливая до глубины души костюмерша Софочка своими глазами видела, как Валерия вошла и закрыла за собой дверь. Правда, пришла она не прямо со сцены, по дороге задержалась где-то, но не слишком, всего минуты на три-четыре. И больше не выходила, даже когда по внутреннему радио объявили минутную готовность. Софочка подсматривала из костюмерной и страшно переживала — не за себя, конечно, за актрису, которую она так расстроила перед самым спектаклем! Валерия все не появлялась, и после долгих мучений Софочка решила постучать. Никто не открыл, и она потянула дверь. Странное дело, дверь оказалась заперта. Перепуганная Софочка подняла шум, побежали за режиссером.

Мертвый Верховенцев лежал посреди своего кабинета, откинув одну руку и прижав к груди другую, как будто показывал актеру, как именно следует читать монолог. Рядом на полу валялся его портфель, из которого вылезли бумаги, а на столе стояли бутылка и два коньячных бокала. Один пустой, второй почти нетронутый.

Стали звонить в «Скорую», искать директора, поднялся невообразимый переполох, кто-то помчался в радиорубку предупредить, чтобы не давали звонка. Софочке стало так плохо,

что она могла только мычать и показывать рукой куда-то в коридор. Наконец, Василиса догадалась, что костюмер пытается объяснить что-то важное. «Что, что, Софочка?» «Лера», — наконец выговорила костюмерша.

Дверь примерки открыть не смогли. Послали за слесарем, но откуда вечером в театре слесарь?! Помог сосед Ляли Вершининой, прибежавший за кулисы после того, как директор объявил о несчастье. Сосед притащил из машины ящик с инструментами и в два счета расколупал замок. Дорожка лежала на кушетке, вытянувшись, рядом с ней на ковре валялся пустой стакан и выкатившийся из него ломтик лимона. В первую секунду все решили, что она тоже... умерла. Однако московский гость Озеров бесстрашно пощупал ей пульс, сказал, что она жива, и потребовал нашатырь. Василиса кинулась и принесла из костюмерной литровую бутылку — они брызгали нашатырь на брюки, чтобы не блестели после глажки. Озеров сунул Валерии под нос ватку, она замотала головой, оттолкнула его руку и стала натужно кашлять.

Все это было похоже на сцену из спектакля.

Может, поэтому Федя Величковский поверил... не до конца.

— Как вы думаете, кто его убил и за что?

— Мы вообще не знаем, почему он умер. Может, у него инфаркт случился?

— Но вчера все говорили, что он никогда ничем не болел!

— Федь, у тебя же родители врачи. Ты прекрасно знаешь, что в любую секунду может случиться все, что угодно.

— Именно потому, что мои мамаша с папашей подвизаются на ниве медицины, — начал Федя, обретая прежний тон, — я и утверждаю, что Верховенцев помер насильственной смертью! Мои родители всегда говорят, что человек — конструкция очень надежная. Ни с того ни с сего на тот свет она отправиться может, конечно, но это маловероятно.

— Кто — она?

— Конструкция, — объяснил Федя не моргнув глазом. — Как вы думаете, с нас будут... как это говорят... снимать показания?

— Да что с нас можно снять, если мы ничего не видели?

— Не знаю, как вы, а я видел очень многое! Я видел, как все ссорились перед спектаклем. От них только что дым не валил! Я слышал, как этот красавец, как его?..

— Роман Земсков. Он у нас в спектакле должен главную роль играть.

— Как этот Роман сказал, что он отомстит прекрасной Валерии.

— Он не так сказал.

— Но суть именно в этом! Ей-то точно что-то подмешали в чай! Может быть, смертельная доза предназначалась не Верховенцеву, а именно ей, но он как-то случайно выпил.

— А она? Она тогда что выпила?

Федя пожал плечами. Он зачем-то налил чай в блюдце и теперь держал его всеми пятью пальцами под доньшко и дул, скашивая глаза.

— Объяснений может быть сколько угодно, шеф! Верховенцев мог зайти к ней в антракте или перед антрактом и выпить ее чай, а она потом лишь допила остатки. Или... или они вместе выпили что-то, и это был вовсе не ее чай, но он выпил больше, чем она! Поэтому он умер, а Валерия только отравилась. Кроме того, коньяк! У него в кабинете на столе остались бутылка и два бокала. Интересно, на них есть отпечатки? Кто-то пил с ним и отравил его! Любой театр — это не только храм искусства, это еще всегда и обязательно

осиное гнездо!

Озеров посмотрел на него.

— В театрах бывают, конечно, всякие чрезвычайные происшествия, — протянул он задумчиво, — но я ни разу не слышал, чтобы коллеги травили друг друга до смерти.

— Даже если Верховенцев умер... сам по себе, Валерию совершенно точно отравили. А Роман перед самым спектаклем сказал, что он ей отомстит.

— То есть ты хочешь сказать, это Роман подмешал ей отраву в чай.

— Я не исключаю такой возможности, шеф.

— Но чай приносит толстая костюмерша Софочка!.. Вторая, маленькая, вчера говорила, что это ритуал и он никогда не меняется. Как ее зовут, маленькую?

— По-моему, Кузина Бетси.

Озеров махнул рукой.

— Мы теперь дело не сделаем, — сказал он с тоской. — Надо звонить Гродзовскому и возвращаться в Москву. И Москвитину сказать, чтобы собирался.

Москвитин был звукорежиссером.

— Подождите, шеф, мы же не должны стартовать прямо сейчас! Давайте сходим в храм искусства и одновременно осиное гнездо и сориентируемся на месте. В конце концов в Москве мы должны быть только в будущий понедельник. Неужели вам не любопытно?..

Озерову было очень любопытно, но не признаваться же в этом мальчишке!..

Максим вдруг улыбнулся. Он старше — быстро прикинул — всего лет на двенадцать, а такое впечатление, что на целую жизнь. Или на несколько жизней.

Федя доел хлеб, весь сыр и весь джем, выпил весь чай, оглядел стол, словно проверяя, не осталось ли чего-нибудь еще, и накинул на голову капюшон.

— Пойдемте, шеф. Проведем рекогносцировку местности.

На высоком гостиничном крыльце пришлось зажмуриться, так бело было вокруг. Даже река, незамерзшая, широченная, вся побелела, как будто темную воду припорошил снег. Машины по дороге шли, разваливая на две стороны жидкую снеговую кашу. Горка, к которой притулилась гостиница, была вся засыпана, деревья стояли по пояс в снегу, а он продолжал валить.

— Нет, шеф, ну какая красота, согласитесь! — воскликнул Федя, и Озеров, натягивая перчатки, посмотрел на него с удовольствием. Почему-то ему нравилась совершенно неуместная Федина восторженность.

— Я люблю зиму, — продолжал разглагольствовать Федя, пока они, по-журавлиному задирая ноги, пробирались по жидкой каше к машине. Он поминутно хлюпал носом и натыкался на Максима, который останавливался, выискивая место, куда ступить. — Нет, лето я, конечно, больше люблю, но в зиме есть особенная прелесть! Снег, грязь, холод собачий! Между прочим, замечено: чем противнее зима, тем веселее праздники. Самый лучший праздник — Новый год, а, Максим Викторович?

Максим запустил двигатель, по стеклу проехали «дворники», обрушив полукружья мокрого снега. Федя забрался на пассажирское сиденье и на полную мощность включил отопитель.

— А вы знаете, куда ехать? Я вчера ничего не запомнил. Вверх до кремля, потом, по-моему, направо. Обратимся к мировому разуму! — и Федор выудил из рюкзака планшет. — Он всемогущ, и он нам подскажет.

— Федя, я знаю дорогу.

— А вдруг вы в самый ответственный момент свернете не туда, и мы вместо Нижегородского драматического театра окажемся в Саратовском театре комедии?

Озеров выехал со стоянки и покатил вдоль широченной всклокоченной зимней реки, раздумывая, не следует ли позвонить директору театра Лукину и предупредить. Наверняка тому сейчас не до столичных гостей!.. Федя тыкал в планшет и то и дело восклицал: «Стой, стой, куда ты меня повел!.. Давай обратно!.. Где маршрут-то? Да я не в Лакинске, я в Нижнем, что ты такой тупой? Ты хочешь меня опозорить?»

Потихоньку-полегоньку они доехали до пешеходной улицы, почти пустой в сегодняшнее снежное понедельничное утро, и Озеров, приткнув джип к невысокой каменной ограде, сказал:

— Приехали, вылезай.

Федя как ни в чем не бывало засунул опозорившийся планшет в рюкзак и выбрался из машины.

— Нам надо экскурсию по городу заказать, — вдруг сказал он. — Мамаша велела! Она в любом городе, куда бы мы ни приезжали, первым делом заказывает экскурсию. Мы с отцом уже привыкли! Она считает, что только дикари приезжают в незнакомое место и сидят в гостинице или на работе, а больше ничем не интересуются!

Тяжелая неухоженная дверь служебного входа проскрипела, отворяясь, и на них строго и торжественно взглянул вахтер в синей форме. Перед ним на желтом канцелярском столе были разложены большие шнурованные тетради.

— Мы к директору, — бодро заявил Федя Величковский, откидывая капюшон. Под капюшоном обнаружилась войлочная шапка «Пар всему голова», и Озеров понял, что торжественный вахтер их ни за что не пустит.

Не помогут ни паспорта, ни удостоверения «Радио России», ни словесные уверения в благонадежности.

Нужно было сразу директору позвонить!..

Ни по одному из известных Озерову номеров никто не брал трубку, и они так бы и уехали несолоно хлебавши, если б не заведующая литературной частью. На ходу отряхивая снег с пальто и платка и сильно топая ногами, она вошла в вестибюль, поздоровалась и сказала вахтеру негромко:

— Дядя Вася, это гости из Москвы, пропустите.

— Вот спасибо, — пробормотал Озеров. — А то мы уже надежду потеряли.

Она покивала, не слушая, и пошла по вытоптаным мраморным полам в сторону лестницы, видневшейся за поворотом. Подол длинной юбки был весь забрызган грязью.

— Никаких новостей нет? — спросил Федя с жарким любопытством. — Не знаете?

— Какие же новости? — под нос себе пробормотала бледная и какая-то одутловатая заведующая литературной частью. Федя мог поклясться, что она всю ночь рыдала. Может, у нее с режиссером Верховенцевым были *особые отношения*? Кажется, так это называется в пьесах! — Что за напасти на нас, да еще так неожиданно! Бедный Юрий Иванович. Они с Верховенцевым не то чтобы дружили, но понимали друг друга хорошо. А это важно, очень важно для театра, когда главный режиссер и директор выступают единым фронтом. У нас ведь мир очень сложно устроен, очень. Все нервные, тонкие, талантливые.

Они поднимались по лестнице, голоса гулко отдавались от стен. Федя хотел спросить, точно ли талантливы все до единого, но вместо этого спросил:

— А из-за чего вчера скандал случился?

— Боже мой, да не из-за чего, — сморщившись, сказала Ляля. — Самая обыкновенная свара! Валерия Дорожкина по ним большая мастерица.

Она потянула дверь и пропустила их вперед:

— Юрий Иванович, Юрий Иванович! — Она выговаривала «Юриваныч». — К вам пришли!

Дверь из приемной, где давеча за шкафом рыдала Кузина Бетси, в директорский кабинет была распахнута и подперта фигуркой чугунного бульдога, чтобы не захлопывалась, и за ней происходило какое-то движение, как будто Юриваныч бегал туда-сюда.

— Мы к вам!

Директор стоял возле высокого книжного шкафа и на пол выбрасывал из него книги. Выбросив некоторую часть, он перебежал к столу, выдвинул ящик, полный бумаг, вывернул его на ковер, стал перед ним на колени и начал перебирать бумаги.

— Юриваныч, — едва выговорила Ляля, — вы... что?!

— Может, помочь? — сунулся Федя Величковский. Он мигом содрал куртку с плеч, подбежал к директору и присел на корточки. — Что мы ищем?

Лукин мельком взглянул на доброжелательную и заинтересованную Федину физиономию, но, кажется, его не заметил.

— Ляля, родимая ты моя! — Голос у него дрожал. Озеров подумал быстро, что бутылка с нашатырем далеко, в костюмерной. Послать, что ли, Федю? — Где же они? Все обыскал — нету!

— Что? Что вы потеряли?!

— Деньги, — сказал Юрий Иванович и странно перекосясь, как будто делал усилия, чтобы не зарыдать. — Все деньги пропали!

— Подождите, какие деньги? — Это Озеров спросил.

Директор боком сел к столу и сорвал с переносицы захватанные очки.

— Вы кто? Вы ко мне? Я не могу, я сейчас не принимаю! Ляля, деньги украли!

Он вскочил и побежал к книжному шкафу — Озеров посторонился, пропуская его.

Ляля вдруг сообразила, ахнула и двумя руками прижала ко рту платок:

— Те?! Те деньги, Юрий Иванович?

Он несколько раз с силой кивнул. Книги с глухим стуком падали на пол. Озеров понимал, что случилась какая-то новая катастрофа, не хуже вчерашней.

— Тук-тук! Можно к вам, Юрий Иванович?

Максим прошагал к двери и аккуратно прикрыл ее перед носом посетительницы.

— Чуть попозже зайдите. У нас совещание.

После чего взял директора под руку, подтащил к креслу и силой усадил. Лукин порывался вскочить.

— Я Максим Озеров, я должен записывать у вас спектакль. Объясните, что случилось.

Федя Величковский из невесты откуда взявшейся темной бутылочки накапал в кружку вонючих капель и сверху долил воды. Директор выхватил у него кружку, плотнул, поперхнулся и стал кашлять. Ляля проворно копалась в бумажных завалах.

— Деньги, — прокашлял директор. Лысина у него побагровела. — У меня в сейфе лежали деньги, пять пачечек!.. Банковские пачки, запечатанные. До вчерашнего дня на месте были, а сейчас... пропали! Пропали! Может, я их переложил?.. Да не перекладывал я! Ляля, родимая, ведь пятьсот тысяч!..

— Вы точно не перекладывали, Юриваныч?

— Вроде нет! Да нет, зачем я их буду куда-то перекладывать?!

— В этом сейфе они лежали?

Директор горестно покивал:

— В самом дальнем уголке. Вон за теми папками! А теперь там пусто! Пропали, украли!

Ляля, что мы будем делать?!

Максим подошел и посмотрел внутрь большого нестораемого шкафа. И Федя подошел и заглянул. И туда-сюда покачал бронированную дверь.

— У кого еще есть ключи?

— Какие ключи? Ах, ключи! Дома у меня запасные и еще у главного режиссера были, а больше ни у кого! Даже у Тамары Васильевны нету. Мальчики, что теперь нам делать?

Озеров сел за стол напротив директора и сказал очень спокойно и твердо:

— Давайте обсудим ситуацию. — Когда он говорил так спокойно и твердо, его все слушались и приходили в себя. — Вчера вечером деньги, пятьсот тысяч рублей, были на месте. Правильно я понимаю?

— Абсолютно, совершенно, родимый мой.

— Сегодня вы пришли в кабинет, и... что? Сейф был взломан?

— Боже сохрани, ничего не взломан, в полном порядке сейф. Он был заперт, я его открыл вот этими самыми ключами, — Юрий Иванович показал на связку, которая болталась в замочной скважине. — Я вынул личное дело Бочкина, просто чтобы подготовиться к составлению некролога...

— Как, Бочкин тоже умер? — издалека удивился Федя.

— Боже мой, Бочкин — наш главный режиссер! Он вчера трагически скончался. Виталий Васильевич Бочкин.

— Верховенцев это псевдоним, — объяснила Ляля.

От всех потрясений, случившихся за последние сутки, ее не держали ноги. Она присела на первый попавшийся стул, взяла кружку, из которой пил директор, и тоже сделала несколько глотков.

— Вы не понимаете, Максим Викторович, — вдруг сказал директор, и Озеров удивился, что Юрий Иванович его вспомнил. — Вы не до конца понимаете. Эти деньги... не простые, золотые они. Вот так и есть. Мне их передал один меценат, очень большой человек в области. Он наш покровитель. Не просто так передал, не с глазу на глаз, а прилюдно, на собрании!..

— Это деньги на ремонт крыши, — пояснила Ляля. — У нас крыша в очень плохом состоянии, а бюджет... сами знаете, какой у театров бюджет. Нас весной стало затапливать, так мы всем театром декорации спасали, архивы. По ночам дежурили.

— Все лето деньги искали, кланялись, просили. Это непросто, никто не дает. Я и в мэрию, и в администрацию, — Юрий Иванович горестно махнул рукой. — Никто раскошелиться не хотел! А этот... дал! Полмиллиона тютелька в тютельку! Мы до снега хотели работы провести, начали уже, и тут!.. Главное, вы понимаете, я и не заметил, что их нет. Я личное дело достал, и только пото-ом!..

— Если сейф не взломан, значит, его открыли ключами, — сказал Федя Величковский. Он как будто обнюхивал толстую дверь, потом засунул голову внутрь. — Ваши запасные ключи на месте? Дома?

— Родимый ты мой, откуда ж я знаю!

— А ключи режиссера Бочкина? То есть Верховенцева?

— Так его же в морг вчера забрали. Господи, какое несчастье, какое несчастье!

— Юрий Иванович, надо специалистов вызвать, — предложил Озеров с сочувствием. —

Компетентные органы.

— Не могу я органы вызывать, Максим Викторович. — Директор стал галстуком протирать очки. — Никак не могу. Это дело тонкое. Меценат наш не простит. Он и так не простит, а если уж я полицию подключу! Он ведь, понимаете, мне из рук в руки их отдал. Без всяких расписок, записок. Он человек такой... особенный, непростой.

— Бандит? — уточнил Федя Величковский, хотя все было и так понятно.

Юрий Иванович грустно нацепил очки.

— Непростой человек, — повторил он. — Очень любит наш театр. В трудовую книжку я к нему, знаете, не заглядывал, что именно там значится, бандит или депутат! Не знаю и знать не желаю. Он нам всегда помогает. Он всегда участвует! А тут такое неуважение, такая катавасия! Полмиллиона, шутка ли!..

— И крыша, — тихонько вставила Ляля. — Только приступили.

— Мальчики, родимые, — вдруг встрепенулся директор, — вы уж никому ни единого слова! Поклянитесь, что ни звука!

— Клянусь! — громко пообещал Федя, а Озеров ничего не сказал.

Ляля поднялась и принялась по одной возвращать книги в шкаф. По тому, как она их ставила, было понятно, что деньги — полмиллиона тютельница в тютельница! — пропали окончательно, их никто и никогда не найдет, и нет никакой надежды на то, что Юриваныч случайно переложил их из сейфа в книжный шкаф.

— А может, все и затевалось ради денег, шеф? — спросил Федя. Он заглянул в пустой аквариум с сухим песком на дне. — Как вы думаете? Может быть, режиссера Бочкина, то есть Верховенцева, убили только для того, чтобы вытащить у него ключи от сейфа? Куш неплохой!..

— Почему убили? — с ужасом спросил директор и повернулся к Феде вместе со стулом. — Как это — убили? Он же просто лежал... на полу... и никаких следов и намеков даже... Максим Викторович, это невозможно!

— Наш Федор сценарист, — пояснил Озеров. — Специализируется на детективных постановках.

— Постановка! — повторил директор и схватился за голову. — На сегодня была намечена запись для радио, боже мой!..

— Сегодня мы ничего записывать не будем.

— Максим Викторович, родимый вы мой, как же нам быть? Мы просто должны, мы обязаны!

— Что?

— Записать спектакль по повести Чехова «Дуэль»! — выдохнул директор с жаром. — Мы так готовились! Мы собирались!

— Переругались все, когда состав утверждали, — грустно вставила Ляля.

— Вот именно, так и есть. Мы должны записать, не сегодня, так завтра или через три дня! Умоляю вас, Максим Викторович!

— Да не надо меня умолять, — несколько растерялся Озеров.

— Нет, нет, вы не понимаете!

— Я не понимаю.

— Это же всесоюзное радио! Ну, то есть всероссийское, конечно! Такая запись — это некоторым образом плевков в вечность!

Озеров вытаращил глаза.

— Как же?! Наш радиоспектакль пройдет в федеральном эфире, мы останемся в фонотеке Госрадиофонда! — разошелся Лукин.

— В Берлине будут представлять, — поддал жару Федя. — На конкурсе «Золотой микрофон»!

— Да, да, конечно! И потом — я обещал. Не только артистам, но и... нашему меценату. Я имел неосторожность твердо ему пообещать! Он ждет, что наш театр наконец-то прогремит на всю Россию. Мы должны, должны это осуществить!

Озеров пожал плечами. Директор ему нравился и вызывал сочувствие.

— Давайте осуществим, — сказал он наконец. — Собственно, для этого мы и приехали, просто я так понял, что сейчас это будет затруднительно...

— В память! — закричал Юрий Иванович. — В память о великом и безвременно ушедшем! Он же ученик самого Любимова! Сам Любимов ставил, можно сказать, руку нашего покойного мастера!.. Артисты будут играть как никогда, обещаю вам!

— Покойный был хорошим режиссером? — Федя сел верхом на стул и зачем-то надвинул на голову капюшон толстовки.

Возникло молчание, очень короткое.

— Грамотным, — первой ответила Ляля. — Виталий Васильевич был на самом деле опытным и профессиональным режиссером. Он любил ссориться с артистами, и ссорить артистов тоже любил, но, насколько я знаю, так делают многие режиссеры. Вот например, Юрий Любимов...

— Сразу после похорон, — Юрий Иванович молитвенно сложил руки на груди. — Мы проводим его и на следующий же день дадим спектакль! Максим Викторович, родимый вы мой, мы же так и сделаем, правда?

— Хорошо, — согласился Озеров. — Можно попробовать.

— У-уф, — выдохнул директор театра и помахал на себя, как веером, растопыренной пятерней. — Как трудно, боже мой, как все трудно!..

Вдруг широко распахнулась дверь, сквозняком дернуло по занавескам. Зашуршали и поползли вываленные на пол бумаги.

— Юрий Иванович, подпишите мне увольнение!

Широко и твердо шагая, Роман Земсков приблизился к столу и, глядя директору в глаза, положил перед ним листок. По сторонам он не смотрел.

— Какое еще увольнение, — под нос себе пробормотал Лукин, взял листок, далеко отставил от глаз и, шевеля губами, принялся читать единственную начертанную на нем фразу.

Федя вытянул шею и перестал качаться на стуле. Ляля задвинулась поглубже за дверцу шкафа. Озеров положил ногу на ногу.

— Родимый мой, — прочитав несколько раз, начал Юрий Иванович, — как же так можно? Что за номера? У нас... такие происшествия, а ты деру дать собрался?

— Мне наплевать, — сказал Роман твердо. — Если не подпишете, я просто уеду, и все. Ни дня не останусь в этой богадельне!

— Да как же я подпишу, когда ты у нас во всех спектаклях задействован, на тебе держится весь репертуар!

— Плевать. Я. Хотел. На ваш. Репертуар, — очень четко выговорил Роман, оперся ладонями о край стола и придвинулся к самому директорскому носу. — Подписываете, или я

так ухажу?

— Ромочка, родимый ты мой, так же не делается! Не делается! Кого я сейчас на твои роли введу?! Ну кого? Ты знаешь, второй режиссер у нас слабоват, Виталий Васильевич его ни к чему серьезному не допускал, он и подготовить никого не успеет! Подожди, родимый, хоть... ну, хоть до лета!

Роман Земсков сузил глаза и выхватил из директорской руки листок.

— Понятно, — отчеканил он. — Только не говорите потом, что я вас не предупреждал. Счастливо оставаться!

Озеров, которому нравился Юриваныч, решил, что пора вмешаться.

— В каких постановках участвует юноша? — спросил он негромко и снял невидимую соринку с собственного вельветового колена.

Оба, и директор, и мятежный артист, как по команде, повернулись и уставились на столичного режиссера.

— Боже мой, да практически во всех, — пробормотал директор. — И в «Свадьбе Кречинского» играет, и в «Белой гвардии», и в «Методе Гронхольма», и...

— Вот и славно, — перебил Озеров. — Материал прекрасный! Как раз у меня будет несколько свободных дней, я подготовлю кого-нибудь из второго состава. У вас наверняка есть кандидатура.

Озеров еще полюбовался своим коленом. Заведующая литературной частью совсем затихла за дверцей книжного шкафа. Федя Величковский почесался.

— Да, — как будто спохватился Максим Викторович, — еще спектакль для «Радио России»! Кого из перспективных порекомендуете, Юрий Иванович? Все же федеральный эфир, дело серьезное. Опять же Берлин, европейские премии...

— Ванечка, — выдавил директор и посмотрел умоляюще, — Ванечка Есаулов очень неплохой артист, подает большие надежды...

— Звоните ему, Юрий Иванович, пусть тексты учит!

— Есаулов? — повторил Роман Земсков и раздул ноздри. — Какой из него фон Корен? Или Турбин?! Вы что, рехнулись совсем?!

— Так ведь отступать некуда, родимый ты мой! — вскричал Юрий Иванович, по всей видимости, с опозданием разгадавший режиссерский замысел Озерова. — Ты ж мне руки выкрутил совсем! Мне же надо ликвидировать прорыв! Где он тут у меня, Ванечка Есаулов... боже мой... неловко, конечно, и объемы большие, но...

— Есаулов не будет играть фон Корена! — заорал Земсков.

— Будет, будет, — успокаивающе протянул Озеров. — Мы ему поможем, и он сыграет.

Роман секунду постоял над директором, как будто коршун парил над заполошной курицей, потом медленно разорвал заявление — раз и еще раз.

— Хорошо, — сказал он. — Я все понял. Но только до Нового года, ясно вам? И ни дня больше!..

— Конечно, конечно, родимый, — закивал директор. — Ни дня, ни секунды! Давно бы так, а то что ж... подпишите заявление!.. А мне куда деваться? Да и Есаулов неплохой, неплохой артист!

Роман швырнул на пол обрывки заявления и вышел, сильно хлопнув дверью. Директор шумно вздохнул.

— Весело у вас, — констатировал Озеров, когда закрылась дверь.

— Вы не подумайте, что у нас тут вертеп и никакой дисциплины, Максим Викторович!

После вчерашних трагических событий нервы у всех на пределе. Артисты натуры тонкие, впечатлительные. Земсков неплохой, очень неплохой парень, но — звезда. Такая звезда, боже мой!..

— Юриваныч, я пойду, — тускло сказала Ляля.

— Ляля, только никому ни слова! Собрание надо проводить, а тут еще деньги эти!.. Как все нескладно, как нескладно!

— Познакомьте меня со вторым режиссером. Он в курсе хоть чего-нибудь? — спросил Озеров.

— В курсе, конечно, в курсе! Покойный Виталий Васильевич всю текучку на него переключивал, и он старается очень, очень!..

— Я познакомлю, Юриваныч. Если Игорь сейчас на месте. А Островского я у вас заберу, это мой Островский.

— На месте, Лялочка! Такой день, все собрались, кто же дома усидит... Боже мой, какая беда, какие несчастья.

В приемной перед зачехленной пишущей машинкой «Москва» сидела пожилая удрученная тетка.

— Как там, Ляля? — спросила тетка трагическим полусшепотом, когда они вышли. — Ничего?

Ляля пожала плечами.

Следом выскочил Юрий Иванович:

— Экскурсию, экскурсию по театру надо обязательно, Максим Викторович! Я сам собирался провести для вас и для... молодого человека. Вот Ляля вам все покажет! И интервью надо организовать! Непременно организовать! У нас одна девчушка очень складно пишет для «Волжанина»! И в «Комсомольскую правду», и в «АиФ» звоните, у нас гости из столицы.

Заведующая литературной частью привела их в угловую комнату, полную сквозняков, растрепанных книг, папок и старой мебели. Выкрашенные в желтое стены сверху все были в мокрых разводах.

— Крыша, — объяснила Ляля равнодушно. — Теперь уж не починим. Хотите чаю?

— А у вас вообще-то подворовывают? — озабоченно спросил Федя Величковский.

Ужасно, но ему все нравилось!..

Нравился старый театр с полутемными истертыми лестницами и круглыми окнами, выходящими то на заснеженные липы и пустынную городскую улицу, то вдруг — неожиданно! — на широкую лохматую коричневую воду. Нравился директор с его захватанными очками и лысиной. Нравился артист Земсков, который на глазах у Феди задавал такие гастроли, что в холодном кабинете даже жарко стало! Нравилась заведующая литературной частью, одетая, как пожилая цыганка, с длинными, растрепанными, неухоженными волосами и толстенным томом Островского под мышкой. Нравилась детективная пьеса, игравшаяся прямо на его, Фединых, глазах — самая настоящая, в настоящих декорациях, современная, но похожая на старинную.

Еще ему очень понравилось, как шеф моментально укротил строптивного артиста! Кажется, тот ничего и не понял!

Феде очень хотелось... расследовать, красться по темным коридорам, подслушивать зловещие разговоры, делать выводы, опровергать обвинения и строить версии. Еще он представлял, как станет рассказывать всю эту историю папаше с мамашей, а они будут

слушать — очень внимательно и с сочувствием, но сделав иронические лица.

Он очень любил, когда родители делали иронические лица.

...Куда же могли деться «приваловские миллионы»?

— Федька, — вдруг сказал шеф, — где ты взял валокордин?

— А?.. — удивился Федя.

— Ты капал директору валокордин. Откуда ты его взял?

Величковский кивнул на свой рюкзак.

— Вон, в боковом кармане. У меня всегда с собой валокордин, нитроглицерин, средства от головы и от поноса. — Тут он галантно шаркнул ножкой в сторону заведующей литературной частью. — Пардон за прозу жизни, мадам. Мамаша приучила! Она считает, что у каждого культурного человека под рукой должны быть элементарные средства спасения!

— Потрясающе, — оценил Озеров.

— Кто мог украсть деньги, Ляля... как вас по отчеству?

— Ольга Михайловна, но все зовут меня просто Ляля. Я привыкла.

— А раньше что-нибудь пропадало?

Она пожала плечами. Старенький электрический самовар сначала засопел, а потом тоненько заныл. Ляля стала насыпать заварку в чайник с красными и золотыми цветами.

— По мелочи иногда что-нибудь пропадает. У Валеры Дорожкиной чаще всех. Но у нее и вещи... особенные. Дорогие, красивые. У Софочки, это зав костюмерным цехом, как-то кружевной воротник пропал, и не нашли. Но денег никогда не брали, никогда!.. У нас и двери-то никто не запирает, сумки у всех нараспашку, и в голову не приходит прятать!

Озеров подошел к окну и уставился на снег, который все валил и валил, засыпая широкий полукруглый балкон с облупленной балюстрадой.

— О том, что у директора в сейфе большая сумма, знал весь театр, — произнес он задумчиво. — Этот ваш меценат ему деньги при всех вручил?.. Когда это было?..

— Ох, да где-то перед началом сезона. Да, да, собрание труппы было, мы его всегда приглашаем, он непременно участвует. Значит, в сентябре.

— До сегодняшнего или до вчерашнего дня деньги спокойно лежали на месте. И вдруг пропали!..

— Шеф, согласно моей теории, мы должны двигаться от финала к началу. Мы видим результат! Результат такой — режиссер умер, звезда отравлена, деньги пропали. Мы должны смоделировать начальные условия.

Озеров покивал, не слушая.

— А Роман Земсков? Хороший актер? — спросил он. — Вчера он играл превосходно!

— Он прекрасный артист.

Озеров обернулся:

— И все время бьется в истерике?

— Да нет же! — горячо возразила Ляля. — Нет, нет! Он очень впечатлительный, конечно, но у всех артистов подвижная нервная система!

— Я догадываюсь.

— Он человек редкого таланта, редчайшего! Он алмаз, понимаете? Он тонкий, умный, сверходаренный! Каково ему среди неумных и неодаренных?

— Что, — уточнил Озеров, — прямо ни одного больше нет одаренного?

— Сравнимого с ним — нет, — твердо сказала Ляля.

Глаза у нее вдруг налились слезами. Полночи она проплакала и была уверена, что

на сегодня слезы все кончились, день на людях она как-нибудь перетерпит, но оказалось, что их еще много, очень много! Целое озеро. И озеро вышло из берегов.

Ляля всхлипнула. Эти двое — чужие и очень холодные. Так ей казалось. При них нельзя, никак нельзя! Они станут смотреть на нее брезгливо и без всякого сочувствия. Они над ней смеяться станут!

— Я сейчас, — пробормотала Ляля, — секундочку.

И выскочила из кабинета. Младший, двухметровый и лохматый, вроде бы даже присвистнул ей вслед.

— Шеф, — приглушив бас, сказал двухметровый и лохматый, когда дверь захлопнулась, — может, у нее с этим, с Земсковым, *особые отношения*, а вовсе не с покойным режиссером Верховенцевым?

— Какое тебе дело, Федя?!

— Я веду расследование. Почему она заплакала? Она же почему-то заплакала!..

— Давай, Федя, чаю выпьем, — предложил Озеров. — Доставай чашки! Попали мы с тобой в историю.

— А вы правда можете за три дня подготовить замену на все спектакли?

— Федь, ты что, чокнулся? Конечно, нет! Я и спектаклей не видел ни разу!

— То есть это был ход! — наслаждаясь, констатировал Федя. — И он сработал!

Озеров распахнул шкаф — у заведующей литературной частью, как и у Юриваныча, мебель была старая, тяжелая, как будто пережившая войны и революции, — и одну за другой выставил чашки.

Нижняя створка отворилась со старушечьим скрипом. Максим присел и задумчиво заглянул внутрь. Там не было ничего интересного.

Вернулась Ляля, похудевшая и постаревшая за несколько минут в коридоре, и стала разливать чай.

— Игорь Подберезов, наш второй режиссер, сейчас подойдет, — сообщила она и шмыгнула носом. — Я к нему заглянула. Он спрашивает, нужна ли вам репетиция, или вы сразу записывать будете.

— Репетиция не нужна, — сказал Озеров и прихлопнул тяжелую дверцу шкафа. — Запись для радио и без репетиций достаточно сложное испытание. Перед пустым залом играть трудно и непривычно. Так что прорепетируем прямо на сцене, а накануне просто читаем. Можно прямо здесь, у вас. Или где вы читаете?.. Надо Юрия Ивановича попросить, чтобы он на завтра назначил читку.

— Я ему скажу. Юриваныч еще насчет интервью волновался. Так я организую, вы не против?

— Я не против.

— У нас по совместительству работает одна девушка, она в газету пишет, с нее и начнем.

— Шеф, можно я немного погуляю по театру? — кротко спросил Федя Величковский, моментально выдувший весь свой чай. — Обещаю вести себя хорошо, в перепалки не вступать и в драки не ввязываться!

— Какие еще драки?! — Ляля звякнула чашкой. — У нас не бывает никаких драк!

Максим кивнул, и Федя выскочил за дверь.

Никакого определенного плана у него не было, он собирался походить по коридорам, заглянуть в кулисы, выйти на сцену и посмотреть в зрительный зал, если получится. «Внутреннюю жизнь» театра своими глазами он никогда не видел, зато время от времени

таскал у матери книжки, она очень любила мемуары, особенно актерские и режиссерские. Согласно мемуарам, театр живет по совершенно другим законам, не так, как все остальные учреждения. Да и слово «учреждение» тут неуместно. Согласно мемуарам, театр — это «большая семья», где то и дело ссорятся, мирятся, любят и ненавидят, строят козни, помогают, выручают, чего только не делают. Федя Величковский решительно не мог представить себе семью в несколько сотен человек! Его собственная семья — мать, отец, братан и он, Федя, — уже была достаточно многочисленной, особенно если добавить тетю, дядю, бабушку Шуру и двоюродных! Согласно мемуарам, для настоящего артиста родители как раз не имеют значения, а имеет значение «семья театральная». Там и есть высший суд, там главные награды и главные разочарования.

Феде Величковскому — как начинающему сценаристу и будущему писателю! — очень хотелось изучить это явление, хотя бы поверхностно, со стороны.

Да и детективная пьеса, пополнившаяся новыми зловещими подробностями, очень его занимала. Кража денег — вот что главное! Общеизвестно, что у любого преступления есть всего три мотива: любовь, она же ненависть и страсть; деньги, туда же наследство, подложные векселя и всякое такое; и попытка скрыть предыдущее ужасное преступление.

Федя был уверен, что в этой детективной пьесе все дело как раз в деньгах.

Он поднялся на самый верхний этаж, заглядывая во все открытые двери, и оказался как будто перед воротами, окованными новой жестью. Одна створка ворот была распахнута. Федя подумал и вошел.

В огромном помещении все оказалось каким-то преувеличенным. Слишком большие стулья, слишком большие фонари, слишком большие деревья в горшках, все ненастоящее. Не сразу Федя сообразил, что это, должно быть, цех, где делают декорации.

— Заблудились? — негромко спросил высокий бородатый человек, выходя из-за какого-то шкафа. Он вытирал тряпкой крепкие жилистые руки.

— Пожалуй, нет, — признался Федя Величковский. — Я на экскурсии. У меня такая экскурсия — на одного.

— Валерий Клюкин, — представился человек. — Муж Валерии Дорожкиной. Я всем сразу говорю, что я муж, чтобы не было вопросов.

— А какие у меня... могу быть вопросы? — не понял Федя.

— Мало ли, — пожал плечами бородач. — У меня такое почетное звание — муж звезды.

— По-моему, неплохое звание! — заявил Федя. — Если теоретически представить себе, что у меня могла быть жена, я бы предпочел, чтобы она была звездой, а не просто какой-нибудь убогой дурочкой.

— Н-да, — то ли согласился, то ли не согласился Валерий.

— Вы декорации прямо здесь делаете?

— Прямо здесь.

— Как вы думаете, что могло случиться с главным режиссером?

Валерий швырнул тряпку в угол, она приземлилась на ящик, в котором, как патроны в патронташе, были плотно натыканы желтые длинные банки.

— Он помер, — сказал Клюкин равнодушно. — Что еще с ним могло случиться?

— А может, его убили?

— Бросьте. Кому он нужен?

— Я не знаю. Но вашу жену тоже пытались... убить. В тот же вечер.

Клюкин подумал немного.

— Послушайте, молодой человек. Мне нет никакого дела до моей так называемой жены. Мы разводимся. Я больше не могу и не хочу!.. Она вполне жива и здорова, с ней все прекрасно. Не знаю, пытались ее убить, или она сама...

Федя наострил уши.

— Что сама?

— Ничего! — рявкнул Клюкин неожиданно. — Можете продолжать вашу экскурсию в другом месте. У меня работы полно.

Федя, которого никогда в жизни ниоткуда не выгоняли, неопределенно улыбнулся, пробормотал «спасибо» и вышел из обитых жестью ворот.

Странная личность этот «муж звезды», очень странная!

В коридоре на втором этаже ему навстречу попала очень хорошенькая девушка. Вчера он ее уже видел. Кажется, она дочка директора Юриваныча.

— Здравствуйте, — издалека весело сказала девушка и помахала ему рукой. — Вы еще не уехали?

— Нет, — ответил Федя и тоже улыбнулся. — Мы и не собирались!

— А я в «Дуэли» играю Катю, дочку чиновника. Там всего несколько реплик, — и девушка повела плечом, — но все же лучше, чем ничего! Как вас зовут?

Величковский представился по всей форме.

— Федя — смешное имя, — развеселилась девушка. — А я Алина!

— Алина, — немедленно начал Федя, — сжальтесь надо мною. Не смею требовать любви, быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою, но...

— Как?! — совсем уж засмеялась Алина. — Так уж и любви?.. Какой вы быстрый! Вы на радио работаете?

— На радио, — признался Величковский. — На телевидении тоже пытаюсь работать.

— Вы артист, Федя?

— Я сценарист. Ну, еще, конечно, редактор, иногда ассистент режиссера, когда надо, корреспондент...

— Федечка, — Алина взяла его под руку и немного прижалась крепкой и весомой грудью. — Напишите для меня сценарий! Самый лучший и самый красивый! Для самого первого и самого красивого канала! А лучше сразу для большого кино! Я стану знаменитой артисткой и вас тоже немножко... прослаблю.

— Я... постараюсь, — слегка струхнул Федя и спросил глупость: — А вы хотите сниматься в кино?

— Господи, кто же не хочет сниматься в кино?!

— Я не хочу, — откровенно признался Федя.

— Так вы и не артист! Хотя у вас... хорошая фактура. Вы красавец.

Фрондер и циник Величковский, объявленный красавцем, подумал, не отступить ли.

Нет, он опытный человек!.. В конце концов, у него за плечами один неудачный роман и первая любовь в десятом классе, тоже не слишком удачная! Он немного подзабыл, в чем было дело в этом самом десятом классе, но объект его любви, кажется, не обращал на него никакого внимания, и подаренный на День святого Валентина мишутка был оставлен на парте в классе — несколько напоказ. Родители, когда Федя им об этом даже не рассказал, а упомянул небрежно — мишутку было жалко, деньги на него он брал у мамы, долго присматривался и выбирал, — сказали, что на это не стоит обращать внимания. Если девушка так поступает с твоим мишуткой, сынок, выход у тебя только один — больше не

дарить ей подарков. И царапина зажила очень быстро, даже удивительно. Неудачный роман он вовсе не хотел вспоминать! Там уже не царапина была, а кровавая рана, и ему до сих пор было немного страшно ее тревожить.

Он опытный человек, но по какой-то необъяснимой, нелепой чистоплотности опасался и не понимал девушек, прижимавшихся грудью в первые секунды знакомства. Никакого удовольствия и трепета он не испытывал, наоборот!.. В голове сразу наступало похолодание, он отстранялся, принимался сложно и витиевато говорить — в общем, как правило, через некоторое время, к Фединому облегчению, девушка начинала скучать и прекращала натиск.

...Но тут другое дело! Тут — детективная пьеса в декорациях драматического театра! Может, имеет смысл продолжать?

— Проводить вас? — осведомился Федя, решивший, что имеет смысл продолжить.

[Купить полную версию книги](#)